

# АНТИНОМИИ



[yearbook.uran.ru/](http://yearbook.uran.ru/)  
[ifp.uran.ru/ezh/about/](http://ifp.uran.ru/ezh/about/)

2022

Том 22  
Выпуск 3

## Воображая модерность: новые концепции в сравнительной перспективе

Марлиз де Мунк,  
Паскаль Гилен

У нас все еще есть мечта.  
Призыв к разумно дерзкой науке

Сандра Гальперин

Модерн и встраивание  
процессов экономического роста  
в национальные системы

Чарльз Тейлор

Современный моральный порядок

Тал Каминер

В ловушке настоящего:  
планирование, архитектура  
и время постмодерна

Виктор Мартьянов

Генезис и ценностно-  
институциональная эволюция  
Модерна

Питер Вагнер

От господства к автономии:  
две эпохи прогресса в мировой  
социологической перспективе





*Российская Академия Наук*

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА  
Уральского отделения  
Российской академии наук

# АНТИНОМИИ

Том 22

Выпуск 3

**Воображая модернность:  
новые концепции в сравнительной перспективе**

Екатеринбург – 2022

# Издание посвящено 300-летию Российской академии наук

*Главный редактор*

**Виктор РУДЕНКО**, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН  
(Екатеринбург, Россия), академик РАН, д-р юрид. наук, проф.

*Редакционная коллегия*

## *Философия*

**Хоакин Х. АЛАРКОН**, проф. Университета г. Мурсии (Мурсия, Испания), д-р философии; **Владимир ДИЕВ**, директор Института философии и права Новосибирского государственного университета (Новосибирск, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Юрий ЕРШОВ**, д-р филос. наук, проф. (Екатеринбург, Россия); **Владислав ЛЕКТОРСКИЙ**, главный научный сотрудник Института философии РАН (Москва, Россия, председатель), академик РАН, д-р филос. наук, проф.; **Михаил МАЛЫШЕВ**, проф. Автономного университета штата Мехико (Толука, Мексика); **Шон САЙЕРС**, почетный проф. философии Кентского университета (Кент, Великобритания); **Елена СТЕПАНОВА**, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук; **Елена ТРУБИНА**, проф. Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия), д-р филос. наук; **Ань ЦИНЯНЬ**, проф. философии Народного университета Китая (Пекин, КНР).

## *Политическая наука*

**Ольга МАЛИНОВА**, проф. МГИМО-Университета (Москва, Россия), д-р филос. наук, проф.; **Виктор МАРТЪЯНОВ**, директор Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), к. полит. наук, доц.; **Петр ПАНОВ**, главный научный сотрудник Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН (Пермь, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Юрий ПИВОВАРОВ**, научный руководитель ИНИОН РАН (Москва, Россия), академик РАН, д-р полит. наук, проф.; **Ольга ПОПОВА**, зав. кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Сергей ПОЦЕЛУЕВ**, проф. кафедры теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия), д-р полит. наук; **Томас РЕМИНГТОН**, проф. политологии Университета Эмори (Атланта, США), д-р политологии; **Камерон РОСС**, проф. политических наук Университета Данди (Данди, Великобритания), д-р философии; **Ольга РУСАКОВА**, зав. отделом философии Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р полит. наук, проф.; **Ричард САКВА**, проф. Кентского университета (Кент, Великобритания), д-р философии; **Саския САССЕН**, проф. социологии Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), д-р философии; **Кароль СИГМАН**, сотрудник Института политических и социальных исследований Национального центра научных исследований, д-р политологии (Париж, Франция).

## *Право*

**Алексей АВТОНОМОВ**, директор Центра сравнительного права НИУ «Высшая школа экономики», (Москва, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Олег ЗАЗНАЕВ**, зав. кафедрой политологии Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Михаил КАЗАНЦЕВ**, зав. отделом права Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Сергей КОДАН**, проф. Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург, Россия), д-р юрид. наук; **Александр КОКОТОВ**, судья Конституционного суда Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Павел КРАШЕНИНИКОВ**, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (Москва, Россия), д-р юрид. наук, проф.; **Валентина РУДЕНКО**, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург, Россия), к. юрид. наук; **Армандо СЕРОЛО ДУРАН**, проф. Университета г. Сан-Пабло (Сан-Пабло, Испания) д-р права, д-р полит. наук; **Наталья ФИЛИПОВА**, зав. кафедрой государственного и муниципального права Сургутского государственного университета (Сургут, Россия), д-р юрид. наук.

Журнал с 2011 г. включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), «КиберЛенинку», базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science (RSCI), а также входит в международные базы данных EBSCO; Ulrich's Periodicals Directory; Directory of Open Access Journals (DOAJ); International Impact Factor Services (IIFS).

## *Учредитель и издатель*

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук

Журнал издается с 1999 года. В 1999–2018 годах выходил под названием «Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук». С 2019 года журнал издается под названием «Антиномии». Подписной индекс 43669 через Подписное агентство «Урал-Пресс» (контакты ближайших офисов на сайте [www.ural-press.ru](http://www.ural-press.ru)).

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ № ФС77-75331 от 5 апреля 2019 г. ISSN 2686-7206 (Print); ISSN 2686-925X (Online)

Адрес учредителя, издателя и редакции: 620108, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16.

Тел./факс: 7 (343) 374-33-55. E-mail: [admin@instlaw.uran.ru](mailto:admin@instlaw.uran.ru)

Интернет-сайт журнала: <http://yearbook.uran.ru>



Статьи распространяются на основе публичной лицензии Creative Commons



*Russian Academy of Sciences*

INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW  
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

# **ANTINOMIES**

**Volume 22**

**Issue 3**

**Imagining Modernity:  
New Concepts in a Comparative Perspective**

Yekaterinburg 2022

# The edition is dedicated to the 300th anniversary of the Russian Academy of Sciences

## *Editor-in-Chief*

**Viktor RUDENKO** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia).

## *Editorial Board*

### *Philosophy*

**Joaquin H. ALARCON** – University of Murcia (Murcia, Spain); **Vladimir DIYEV** – Institute of Philosophy and Law, Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russia); **Yuri ERSHOV** (Yekaterinburg, Russia); **Vladislav LEKTORSKY** – Institute of Philosophy, the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); **Mikhail MALYSHEV** – Autonomous University of Mexico (Toluca, Mexico); **Sean SAYERS** – University of Kent (Kent, Great Britain); **Elena STEPANOVA** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Elena TRUBINA** – Ural Federal University (Yekaterinburg, Russia); **An QINIAN** – Renmin University of China (Beijing, China).

### *Political Science*

**Olga MALINOVA** – MGIMO University (Moscow, Russia); **Viktor MARTYANOV** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Petr PANOV** – Perm Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Perm, Russia); **Yuri PIVOVAROV** – Institute of Scientific Information on Social Sciences, the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); **Olga POPOVA** – Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia); **Sergey POCE-LUEV** – Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia); **Thomas REMINGTON** – Emory University (Atlanta, USA); **Cameron ROSS** – University of Dundee (Dundee, UK); **Olga RUSAKOVA** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Richard SAKWA** – University of Kent (Kent, UK); **Saskia SASSEN** – Columbia University (New York, USA); **Carole SIGMAN** – Institute for Humanities and Social Sciences, National Center for Scientific Research (Paris, France).

### *Law*

**Alexei AVTONOMOV** – Center for Comparative Law, Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Oleg ZAZNAEV** – Kazan Federal University (Kazan, Russia); **Mikhail KAZANTSEV** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Sergey KODAN** – Ural State Law University (Yekaterinburg, Russia); **Alexander KOKOTOV** – Constitutional Court of the Russian Federation (St. Petersburg, Russia); **Pavel KRASHENINNIKOV** – State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation (Moscow, Russia); **Valentina RUDENKO** – Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia); **Armando ZEROLO DURAN** – University of San Pablo (San Pablo, Spain); **Natalia FILIPPOVA** – Surgut State University (Surgut, Russia).

Since 2011, the journal is included into the List of leading research journals for publication of scientific results of doctorate theses. It is indexed and referenced in RSCI, Ulrich's Periodicals Directory; Directory of Open Access Journals (DOAJ); International Impact Factor Services (IIFS); it is included to the RSCI database on the Web of Science platform.

### Founder and Publisher:

Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.

The journal is published since 1999. In 1999–2018 it was published under the title "Research Yearbook, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences". Since 2019, the journal is published under the title "Antinomies". Subscription index 43669 via Subscription agency «Ural-Press» (contacts of the nearest offices to be found on the website [www.ural-press.ru](http://www.ural-press.ru)).

Registered as the periodical journal by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications.

(The Certificate of Registration ПИ № ФС77-75331, April 05, 2019)

ISSN 2686-7206 (Print); ISSN 2686-925X (Online)

Contacts: S. Kovalevskaya st., 16, Yekaterinburg, Russia, 620108.

Tel/fax: 7 (343) 374-33-55. E-mail: [admin@instlaw.uran.ru](mailto:admin@instlaw.uran.ru)

Web-site: <http://yearbook.uran.ru>



The articles are distributed under  
a Creative Commons public license

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Мунк М. де, Гилен П.</b> У нас все еще есть мечта. Призыв к разумно дерзкой науке.....	9
<b>Тейлор Ч.</b> Современный моральный порядок .....	26
<b>Мартьянов В.С.</b> Генезис и ценностно-институциональная эволюция Модерна .....	42
<b>Вагнер П.</b> От господства к автономии: две эпохи прогресса в мировой социологической перспективе .....	72
<b>Гальперин С.</b> Модерн и встраивание процессов экономического роста в национальные системы.....	96
<b>Каминер Т.</b> В ловушке настоящего: планирование, архитектура и время постмодерна .....	119

## CONTENTS

<b>M. De Munck, P. Gielen.</b> We Still Have a Dream. A Plea for a Sensibly Audacious Science.....	9
<b>Ch. Taylor.</b> The Modern Moral Order .....	26
<b>V. Martianov.</b> Genesis and the Value-Institutional Evolution of Modernity .....	42
<b>P. Wagner.</b> From Domination to Autonomy: Two Eras of Progress in World-sociological Perspective .....	72
<b>S. Halperin.</b> Modernity and the embedding of economic expansion.....	96
<b>T. Kaminer.</b> Trapped in the Present: Planning, Architecture and Postmodern Time .....	119

## **Воображая модернность: новые концепции в сравнительной перспективе**

За последние десятилетия проект Модерна неоднократно объявлялся завершенным, находящимся в кризисе, вступающим в свою радикальную фазу и вновь возрождающимся. Сама идея использования концепта модерности регулярно ставится под сомнение, вызывает острые дискуссии, подвергается пересмотру и при этом продолжает оставаться одной из стержневых для современной социальной теории. Впрочем, уже сам факт того, что модернность дискутируема в бесконечных теоретических рефлексиях и реконструкциях, свидетельствует о том, что ее актуальность неоспорима. Один из важнейших итогов дискуссий последних лет стал вывод о том, что модернность сегодня уже не столько теоретический инструмент, сколько социальный конструкт, который определяется нашими критическими способностями и социальным воображением. Но если это так, то важно понять: кто определяет новые представления о модерности? какие дискурсы утверждают и транслируют эти представления? как формируются сами эти дискурсы? и что в конечном счете определяет новые критерии и нормы Модерна-Современности?

Авторы выпуска стремятся исследовать эти вопросы, описывая собственное видение модерности с точки зрения различных областей: политической теории, социальной философии, культурных исследований, современного искусства, гуманитарной географии, современной архитектуры. Пересечение различных исследовательских перспектив, с одной стороны, является лучшим способом демонстрации того масштабного вызова, который сегодня стоит перед социальными науками в изучении проекта Модерна, с другой – может предложить принципиально новый взгляд на междисциплинарный способ осмысления этой проблемы.



## **Imagining Modernity: New Concepts in a Comparative Perspective**

In the last decades, a number of renowned social theorists announced contradictory diagnoses for the project of Modernity: modernity was declared to be “ended”, “overcome”, “transformed”, “radicalized”, and “revived”. Today the concept undergoes major revision as it is being criticized, discarded, reconsidered and accepted again. The vitality of the debates around the concept of Modernity testifies to the fact that it remains crucial for our understanding of the ‘modern’ condition. On the other hand, current controversies also highlight the fact that the concept is more than a theoretical means to account for the modern world; rather, it is a social construct that is dependent on our present situation and on our critical capacities to deal with it. Therefore, the question arises who is involved in shaping the new visions of Modernity and who makes claims to these visions? Which discourses emerge from these new visions of Modernity? What are the new conceptual constellations in these discourses and who are the new actors of these debates? Which norms and values will be brought forth?

The authors of the volume seek to explore these questions describing their own visions of “re-imagining Modernity” from the perspective of various fields: political theory, social philosophy, cultural studies, contemporary art, human geography, modern architecture. Intersection of these diverse views could become the best way to show an ambitious challenge facing social sciences in exploration of the Modernity project today, and at the same time could offer a new insight towards interdisciplinary manner of its analysis.



Мунк М. де, Гилен П. У нас все еще есть мечта. Призыв к разумно дерзкой науке. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_9 // Антиномии. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 9–25.

УДК 304

DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_9

## **У нас все еще есть мечта. Призыв к разумно дерзкой науке**

**Марлиз де Мунк**

Антверпенский университет  
г. Антверпен, Бельгия

**Паскаль Гилен**

Антверпенский университет  
г. Антверпен, Бельгия

*Поступила в редакцию 24.05.2022*

В наши дни в исследованиях в области гуманитарных и социальных наук преобладают аналитические, объективистские методы, которые выносят чувственное понимание мира за рамки формального научного подхода. Эта тенденция лишает проект модерна как познание мира гуманистического измерения. Кроме того, выбор в пользу личного продвижения по карьерной лестнице, который совершает исследователь в соответствии с современным научным идеалом отчуждения от мира, также препятствует воплощению общей мечты о прогрессе. Вместе с тем в статье утверждается, что эстетическое мышление и грезы о лучшем будущем являются важными элементами первоначального проекта модерна, о чем свидетельствуют труды философов раннего Нового времени – Декарта и Бэкона. В этой статье мы хотим переоценить понимание чувственного восприятия (*греч.* *aesthesis*) и определить его как неотъемлемую часть познания, а также воззвать в унисон с Ф. Ницше к «разумно дерзкой» науке.

*Ключевые слова:* разумно дерзкая наука, чувственное восприятие, экспериментальное знание, наука модерна, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон, Фридрих Ницше



© Мунк М. де, Гилен П., 2022

# We Still Have a Dream. A Plea for a Sensibly Audacious Science

**Marlies De Munck**

University of Antwerp  
Antwerp, Belgium

**Pascal Gielen**

University of Antwerp  
Antwerp, Belgium

*Received 24.05.2022*

*Abstract.* Today, academic research in the human and social sciences is dominated by analytical, objectivistic methods that push an aesthetic understanding and interpretation of the world beyond the ranks of science. This not only deprives the modern project of a humanistic kind of knowledge. The individualistic career model that is sanctified by the contemporary scientific ideal of detachment also thwarts the collective modern dream of progress. However, this article argues that aesthetic thinking and dreaming of a better future are substantial parts of the original modern project, as we see in the early modern thinking of Descartes and Bacon. This article wants to revalue *aesthesis* as an essential part of knowledge and pleas, in line with Nietzsche, for a sensibly audacious science.

*Keywords:* Sensibly Audacious Science; Aesthesis; Experimental Knowledge; Modern Science; René Descartes; Francis Bacon; Friedrich Nietzsche

*For citation:* Munck M. de, Gielen P. We Still Have a Dream. A Plea for a Sensibly Audacious Science, *Antinomies*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 9-25. (in Russ.). DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_9.

Те, кто отделяет науки от искусств и философии, в моих глазах... подобны тирану, который завоевывает важный процветающий и густонаселенный вражеский город и затем, дабы никакие угрозы не исходили из этого города в будущем, разрушает его и рассеивает его граждан по обширным территориям, чтобы у них никогда... не хватило мужества сговориться или прийти друг другу на помощь.

*Джамбаттисто Вико*

## ***Разделение властей***

Как насчет того, чтобы написать что-нибудь разумно дерзкое? Давайте мысленно вернемся туда, где проект модерна сбился с пути. Это был момент, когда наука оборвала свою связь с миром; когда она пожертвовала своей мечтой об общем будущем в обмен на определенность. Это было время, когда науки предали анафеме всякую умозрительность и начали упиваться собственным скептицизмом. Это было также время, когда чувственный трепет перестал считаться движущей силой познания. Науки больше не дают знаний о таких вещах. В такой момент, когда свет общего воображения тускнеет на горизонте, общества теряют ориентацию. Мы вместе

маршировали к цели, но сбились с курса. Когда вера в рай или утопию испаряется, науку ценят только за прагматичные решения, которые она способна предложить. В этом случае знание перестает служить людям, давая им возможность жить вместе; оно просто изо дня в день служит для их выживания.

Когда их общая мечта и стремление к общему для всех горизонту исчезли, искусство и наука вступили в полный драматизма «бракоразводный» процесс. И чем больше науки сосредотачивались на формальных методах, тем ярче проявлялась формализация и в искусствах. По обе стороны этого расширявшегося разлома во главу угла ставился уже не сам предмет обсуждения, а прежде всего отношение к нему. На деле это свелось к тому, что музыка была возведена в абсолют, изобразительное искусство стало повиноваться абстрактным концепциям, романы стали строиться по формулам, а танец подчинился геометрии. Однажды отделившись, бывшие союзники замкнулись в себе и предали неустанному самоанализу. Любопытство, интерес к великим тайнам, что скрывала жизнь, должны были уступить место выхолащиванию. Философия осиротела, став свидетелем этой драмы, и с тех пор постоянно сомневается, какую же ей сторону выбрать.

Когда именно произошло это смещение, сказать трудно. Для каждой научной и художественной дисциплины можно выделить свой исторический момент, когда выращенные в органической среде практики подвергаются пуританским ограничениям. Стадии, на которых «мы знаем» и «мы можем» (знаменитые *homo scientia* и *homo faber*) навязывают себе строгие правила и ограничивают в себя в выборе методов, лучше всего уподобить движению маятника. Почти каждая попытка рационализировать что-либо в какой-то момент превращается в романтическое противодействие этому, что, в свою очередь, питает новые приливы ортодоксальности.

Несомненно одно – науку сегодня все меньше и меньше объединяют амбиции. Современное научное сообщество может на словах поддерживать принципы интернационализма, междисциплинарное сотрудничество, но по своей сути оно привержено принципам анализа, редукционизма и индивидуализма. Разделение проблем и их сведение к простым основам возведено в ранг высшего искусства объективного знания. Прогрессивный исследователь сейчас делит окружающий мир на поддающиеся количественной оценке проблемы. Все, что не поддается фальсификации, тщательно из него вырезается. Как эта «нарезанная на фрагменты» реальность может вернуться к живой целостности, больше никого не беспокоит. Задача эта давно уже была отдана на откуп лишенным скрупулезности специалистам. И что мы имеем, континентальная философия так и не привыкла к этой фрагментированной реальности, а гуманитарные и социальные науки все еще пытаются найти свое место в царстве научного формализма.

### **Свет**

Хотя расколдовывание мира, о котором писал Макс Вебер (см.: Weber 2004), не происходило во всех дисциплинах одновременно и точнее было бы говорить о конъюнктурном «перетягивании каната» между

расколдовыванием и вновь околдовыванием, дата рождения этого процесса более-менее известна. Должно быть, где-то в начале XVII в. люди впервые увидели *свет*. Или, скорее, это был момент, когда один человек начал сомневаться, что может быть источником этого *света* на горизонте: Бог или разум, магия или наука? Самым известным сомневающимся того времени был, конечно же, Рене Декарт. Он, как никто другой, понимал, что источник *света* не где-то еще, а совсем рядом, прямо перед его глазами: «Но сквозь темный хаос науки я уловил проблеск какого-то света, и с его помощью я думаю, что смогу рассеять самые непроглядные туманности» (Descartes 1991: 2-3).

Это может быть трагедией современной науки: вскоре после того, как она обрела свой путь, она снова его утратила и стала предметом нескончаемого спора о своей истинной природе. Это связано с ее весьма неоднозначным происхождением. По мнению философа Антонио Негри, данную двусмысленность можно обнаружить и в жизни самого Декарта (см.: Negri 1970). Становление этого французского мыслителя идет одновременно с разочарованием в прежнем мировоззрении – от раннего периода мысли к более зрелому. Этот период символически совпадает с его переездом из разнузданной Франции в пуританские Нидерланды в 1628 г. Согласно Негри, поздний Декарт все больше времени проводил в уединении, удаляясь от мира и обыденности, чтобы, как это ни парадоксально, лучше этот самый мир узнать.

Двигаясь на север, французский мыслитель навсегда оставил гуманизм эпохи Возрождения и обратился к систематическим методам. Иными словами, в Нидерландах в Декарте оживает философ модерна. Во всяком случае, научное сообщество предпочитает помнить его именно таким: строгим блюстителем границ между сознанием и телом, разумом и страстью, физикой и метафизикой, методами и интуицией, между индивидуальным восприятием мира, с одной стороны, и общественным – с другой. По его убеждению, мудрость больше не может быть найдена в непосредственном отношении с миром. Только когда разум освобождается от ощущений или эмоций, становится возможным получить надежное знание (см.: Descartes 1984: 129; Descartes 1991: 53).

Однако (и здесь мы подходим к ключевому моменту в исследовании мысли Декарта, проведенном Негри) эта картина не совсем точна. Декарту так и не удалось полностью изжить в себе того гуманиста и человека эпохи Возрождения, которым он был, – вопреки тому, во что заставляют нас поверить более поздние догматики рационализма (см. также: Vico 1999). Декарт продолжал верить в силу воображения и искусства, в возможности интеграции и чувственного познания. Как еще следует понимать следующее утверждение?

«Может показаться удивительным, что мы находим некие весомые суждения в трудах поэтов, а не философов. Причина этого в том, что писать поэтов побуждали энтузиазм и сила воображения. В нас есть искры познания, как в кремне: философы извлекают их разумом, а поэты высекают их воображением, чтобы те искры засияли ярче» (Descartes 1984: 4).

У Декарта рационализм остается частью *scientia mirabilis* – науки, которая с энтузиазмом позволяет себе восхищаться чудом самой жизни и видеть в далеком, неизведанном, ослепляющем свете за горизонтом путеводный ориентир. Таким образом, этот свет озаряет самого Декарта не только через разум, но и через силу воображения как источник чувственного или эстетического познания. Это означает, что подающий надежды модернист помещает правду о жизни на пересечении рациональности и интуиции, фактов и вымысла, логики и воображения (см. также: Gielen 2020). Действительно, наш интеллект всегда зависит от нашего тела и его чувственных способностей, в то время как воображение всегда помещает наши (рациональные) идеи в контекст, утверждает Декарт (см.: Descartes 1984: 4).

### **Эмпиризм**

Признанием гибридного характера приобретения знаний Декарт предвосхищает Иммануила Канта, в чьей «Критике чистого разума» (1781) почти 150 лет спустя свершится великое примирение между рационалистическим наследием Декарта и его главным конкурентом – эмпиризмом. Это не должно нас изумлять, если мы серьезно относимся к двусмысленности философской позиции самого Декарта. Или, наоборот, то, что два основных направления современной науки стали столь диаметрально противоположными, вполне может быть связано с тем, что гибридная природа научного проекта раннего модерна не была понята должным образом. Иными словами, и рационализм, и эмпиризм пали жертвой силы тех догм, что склонны недооценивать важность изначально заложенной в проект модерна двусмысленности.

Как бы то ни было, мы находим подобную двусмысленность в работах антипода Декарта, английского философа, государственного деятеля и пионера экспериментального метода Фрэнсиса Бэкона. Бэкона называют отцом эмпирической философии, потому что он объявил саму природу источником знания. В этом смысле эмпиризм является абсолютной противоположностью рационализму. Но до какой бы степени они ни были противоположными, обе эти школы показали себя модернистскими в своей неприязни к догматическому мышлению. Для получения объективного и достоверного знания и эмпиризм, и рационализм опирались на четкие и строгие процедуры. Подобно методическому сомнению Декарта, метод Бэкона инициировал настоящую научную революцию. Начинание Бэкона, несомненно, носило бунтарский, антиавторитарный характер.

Как и Декарт, Бэкон выступает за очищение разума. Однако самое большое препятствие, которое он хочет преодолеть, – это не чувства, а так называемые идолы, или предрассудки, стоящие на пути истинного наблюдения за природой. Будучи эмпириком, он признает значение чувственных наблюдений как источника объективного и достоверного познания природы. Однако для того, чтобы прийти к точным выводам, мы должны подвергнуть природу экспериментальным вмешательствам, и эти вмешательства, по мнению Бэкона, могут зайти далеко. Он сравнивал их с методами ведения допросов своего времени, в том числе писал о наручниках, будучи

убежденным, что «природа больше раскрывает себя под воздействием насилия, нежели по собственной доброй воле» (Васон 2000: 21).

Это испытание, которому подвергалась природа, провоцировало критику бэконовского метода. Некоторые даже сравнивали его с применяемыми инквизицией методами пыток, указывая на опасность дачи ложных показаний под принуждением (см.: Pesic 1999: 82). Такие мыслители, как Адорно и Хоркхаймер, разглядели в ранней экспериментальной науке Бэкона зародыш того, что, особенно в сочетании с его знаменитым утверждением («знание – сила»), в конечном итоге станет катастрофическим крушением модерна (см.: Adorno, Horkheimer 2002: 19). Ведь именно в этом явлении можно увидеть основания для расколдовывания мира. Но предостережения об опасности аналитического экспериментализма громко и отчетливо звучали и в период раннего немецкого романтизма. Гете критиковал эмпирические науки, обвиняя Ньютона в том, что, используя свой аналитический метод, он нарушал органическую гармонию между человеком и природой (см.: Goehr 2008: 116-117). Его друг Фридрих Шиллер также указывал на ограниченность анализа как философского метода. По его словам, аналитический философ подвергает явления природы «мукам собственных приемов» и должен «прекрасное тело расчленить на понятия и сохранить его живой дух в скудном словестном остове»<sup>1</sup> (Schiller 1967: 4-5). В целом романтическая критика обвиняла аналитический метод в редукционизме и, следовательно, в обеднении реальности. Иными словами, научный проект модерна неизбежно упускает из виду гуманистическую сторону познания.

Однако, как и у Декарта, у Бэкона мы обнаруживаем двусмысленность, которая свидетельствует об изначально гибридной природе проекта модерна. Именно эта двусмысленность компенсировала односторонний нарратив о разделении и утрате. Показательно, что на протяжении всей своей жизни Бэкон тайно предавался алхимическим практикам. В частности, он искал так называемый алкагест, панацею, универсальное лекарство от всех болезней, что-то, что продлило бы жизнь (см.: Henry 2006). Несмотря на то, что подобные туманные практики были довольно распространены во времена Бэкона, это не означает, что его эксперименты все же проводились (как минимум частично) в атмосфере магического мировоззрения – пре-модерна. Однако, как и в случае с Декартом, эта двусмысленность обычно рассматривается как исторически случайный, чисто биографический факт, который не имеет ничего общего с реальной природой научной революции, которую предвидел Бэкон. Наоборот, считается, эта революция была явно направлена на то, чтобы разорвать все связи с мышлением пре-модерна. Поэтому к данному факту якобы нужно относиться как к проявлению сугубо личного интереса, не имеющего точек соприкосновения с программой самого проекта модерна. Во всяком случае, именно так избирательно – как отца современной науки – вспоминают Бэкона сегодня.

<sup>1</sup> Цитата дана по русскому переводу: Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека / пер. Э.Л. Радлова. Москва : РИПОЛ классик, 2018. С. 35. – Пер.

### **Экспериментальное**

Тем не менее есть веские основания полагать, что между разнородными аспектами мышления раннего Нового времени действительно существовала внутренняя и даже необходимая связь. Другими словами, науки раннего модерна также охватывали формы познания, которые выходили за строгие границы методов, установленные ими самими. Бэкон, например, сделал хорошо обдуманное заявление о том, как бороться с суевериями. В своей новой экспериментальной науке (в «Новом органоне») он намеренно оставил место для магического искусства. Говоря о «чародействе, колдовстве, снах, гаданиях и тому подобном», он высказал мнение, что «из домыслов и размышлений о них можно извлечь свет... дабы в дальнейшем развеять секреты природы» (Васон 2001: 75).

Это напоминает приведенное выше замечание Декарта о ценности интуитивных откровений поэтов. В этом соединении радикальных инноваций и древних верований и практик обнаруживается одно из главных антагонистических противоречий проекта модерна. Когда в XX в. данный проект был окончательно дискредитирован, одной из причин произошедшего явилось постепенное сокрытие этого фундаментального напряжения, его исчезновение из поля зрения. Только позитивистская, строго методическая сторона нарратива считалась современной. Философ Лидия Гёр показала, что это всего лишь односторонняя интерпретация, отрицающая экспериментальный характер науки раннего Нового времени. В отличие от понятия «эксперимент» (*англ.* experiment), согласно Гёр, «экспериментальное» (*англ.* experimental) является гораздо более широким и многозначным. Исход такого исследования не определяется заранее гипотезой, которую требуется доказать, он выступает результатом такого поиска, цель которого изначально под вопросом. «Экспериментальное» всегда открыто для провала. В конце концов, экспериментировать – значит пробовать то, что еще никогда не пробовали.

Понятие «экспериментальное» имеет коннотацию художественного новшества. Согласно Гёр, экспериментальный характер научной деятельности Бэкона был скорее художественным процессом, чем отчуждающим, контролирующим вмешательством, за которое его позже приняли критики (Goehr 2008: 114). Иными словами, исходная ДНК современной науки включает в себе союз с искусством и с миром. Научную составляющую модерна нельзя отождествлять с одним конкретным методом или процедурой; прежде всего, это принципиальная открытость всему новому. И это обнадеживающий и беспристрастный взгляд в будущее.

### **Разумно дерзкое письмо**

Это подводит нас к тому, что мы назвали «разумно дерзким письмом». Это такая форма письма, прибегая к которой человек рассуждает, сочувствует и общается, не позволяя бесконечным библиографическим ссылкам раздавить себя. Переход к такому письму требует соответствующего образа мысли, который исключает приверженность одной-единственной священной методологии. Такую формулу письма можно сравнить с мышлением



художников: когда они наносят краски на белый холст, их не заботят шедевры их предшественников. Художники осмеливаются творить, потому что уверены, что их руки впитали всю историю искусства. В конце концов, творчеству необходим хотя бы один момент спонтанного проявления. Вы рискуете сделать что-либо, заявить о себе, не позволяя традициям и размышлениям блокировать ваши порывы, потому что уверены: вы проникнуты культурой и историей. Иными словами, ваши рассуждения и творения не случайным образом созвучны причудливым ассоциациям и вольным толкованиям. Источник точности и сосредоточенности мыслителя следует искать не в энциклопедических знаниях, строгих методах или использовании микроскопов, а в правильном ощущении мира и неоднозначности, сложности возникающих в нем проблем.

Парадоксальное, на первый взгляд, выражение «разумно дерзкий» (*англ.* *sensible audacious*) мы заимствуем у Фридриха Ницше. Точнее, из его введения к вышедшему в 1886 г. второму изданию «Веселой науки» (Nietzsche 1974). Он называет эту книгу «рискованной, но неопровержимой» (*нем.* *bedenklich-unbedenklich*) еще и потому, что в ней переплетены искусство и философия. Кроме того, во введении Ницше замечает, что он написал «Веселую науку», вылечившись от депрессии и снова с надеждой смотря в будущее. И именно эти два элемента – попытка снова соединить искусство и науку и исполненная надежды устремленность в будущее – обогащают разумное начало и наполняют его той дерзновенной, жаждущей риска жизненной силой, которую мы здесь ищем.

Несмотря на знаменитое провозглашение смерти Бога в этой книге, послание Ницше в конечном итоге оптимистично. Сумасшедший, ищущий Бога, среди бела дня зажигает фонарь. Он тоже ищет свет на горизонте и знает, что будет, если этот свет погаснет. «Кто дал нам губку, чтобы стереть весь горизонт? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца?» – отчаянно вопрошает он (Nietzsche 1974: 181). Но там, где когда-то Бог служил светом, Ницше доверяет вселяющей надежду легковесной науке, что называется *gaia scienza* – в честь возводимого в идеал старопровансальского искусства поэзии. Эта древняя песенно-поэтическая культура трубадуров ознаменовала собой рождение современной европейской поэзии. Используя термин «веселая наука», Ницше сознательно позиционировал себя как антиученого. Он хотел не отвергать науку целиком, а высмеивать отдельные пуританские представления о ней. В «веселой науке» Ницше нашел не только идеальное сочетание антидогматического мышления и острой критики – отличительных черт проекта модерна, но и искреннее «да» самой жизни, которому, по его мнению, особенно угрожал душающий академизм.

В то же время Ницше остается выдающимся поборником науки модерна. В своем комментарии к английскому изданию «Веселой науки» переводчик Уолтер Кауфман прослеживает связь между Ницше и американским философом, эссеистом Ральфом Уолдо Эмерсоном. Ницше хвалил последнего за то, что тот получил «действительно научное образование» (Nietzsche 1974: 7). Первому изданию «Веселой науки» в качестве эпиграфа была предпослана цитата Эмерсона. Как и Ницше, Эмерсон связывал мудрость и зна-

ние с поэтическим взглядом на мир. У обоих мыслителей удивление тайнам мира и открытость ему неизменно сочетались с дисциплиной и точностью ученого. Именно это сочетание и означало для них «веселую науку». Нелучайно Эмерсон называл себя «профессором Радостной Науки», тем самым дистанцируясь от господствовавшего тогда в Европе сциентистского подхода. В дневниковой записи 1841 г. он выразил неприязнь к этой мыслительной традиции, которую он считал рабской и догматичной: «...я был создан для другой должности, профессора Радостной Науки [!]. Детектор и определитель оккультных гармоний и неописанных красот, вестник вежливости, благородства, учености и мудрости; сторонник Единого Закона. Но как тот, кто должен утверждать это в музыке или танце, жрец Души» (цит. по: Nietzsche 1974: 88).

Какое поразительное сходство с ранней экспериментальной наукой Бэкона! Как и Бэкон, Эмерсон выступает против засилья интеллектуальных авторитетов. В манере, напоминающей стиль произведений Бэкона, он рассуждает об идолах своего времени и ищет знания о мире в самом мире, а не в книгах (см.: Hopkins 1958: 408-409). Кроме того, данная цитата показывает, что двусмысленность науки раннего модерна также отвечала духу «веселой науки» Эмерсона: утвердительной науки, которая хорошо выражает себя в музыке или танце, а также в красноречии. В юности Эмерсон зачитывался «Опытами» Бэкона, которые служили для него источником мудрости и чувственного наслаждения. По его словам, сочинения Бэкона «облачены в стиль такого великолепия, что люди, обладающие богатым воображением, находят удовольствие в одной красоте его выражений» (цит. по: Hopkins: 1958: 410).

Сам Бэкон осознавал важность собственного стиля для тех научных откровений, которые он намеревался представить в своем «Новом Органоне». Он отказался от стандартных методов письма, избрав афористический стиль, поскольку афоризмы для него – это то «неполное знание» (*англ.* broken knowledge), которое побуждает к дальнейшим исследованиям, в то время как приверженность методологии приводит к «спектаклю» тотального знания. Строгое письмо сдерживало ученых, как если бы они находились на пределе своих возможностей (см.: Vasco 2001: 145-146). Не скрывая своих прозрений в герметическом трактате, Бэкон сумел прийти к той мудрости, которая по определению была открыта для дальнейших сомнений. Другими словами, эстетическая форма его письма была напрямую связана с характером нового научного проекта, который он отстаивал. Поэтому эстетическое знание, которое основывается на чувственном восприятии, неотделимо от антидогматического мышления раннего модерна.

В XX в. Адорно сформулировал аналогичную идею в своем знаменитом «Эссе как форма» (1958). В нем он опровергает преобладающее представление о том, что искусство будет всегда относиться к области иррационального и что только методически организованная наука имеет монополию на знание. С этой точки зрения все, что не подчиняется данной дихотомии, считается нечистым. Вместе с тем эссе представляет собой именно такую гибридную форму, и потому оно как нельзя лучше подходит для того, чтобы

критически переосмыслить одностороннюю ориентированность науки на строгий метод: «Со времен Бэкона – который сам являлся эссеистом – эмпиризм был «методом» не в меньшей степени, чем рационализм. Сомнение в их безусловной правоте осуществлялось в самой процедуре мышления почти исключительно посредством эссе. В нем присутствует осознание нетождественного, хотя и без прямого упоминания; оно радикально в своем нерадикализме, в воздержанности от всякого сведения к одному принципу, в акцентировании частного по отношению к тотальному, в фрагментарности»<sup>1</sup> (Adorno 1984: 157).

«Радикально нерадикальный» характер такого формата, как эссе, мало чем отличается от «разумно дерзкого» мышления и письма, которые мы рассматриваем на этих страницах. Всё это присуще критике науки. Подобную мысль мы встречаем и у Ницше. Уже в своей первой книге «Рождение трагедии» он задался целью «увидеть науку сквозь призму художника», поскольку «проблема науки не может быть познана на почве науки»<sup>2</sup> (Nietzsche 1993: 4–5). Однако, как и в случае с Эмерсоном, критика науки не означала, что Ницше ее радикальным образом отвергал. Он лишь отверг упрощенный выбор между позициями за или против науки (см.: Nietzsche 1974: 13). Его позиция была более диалектичной, сохраняла двусмысленность «веселой науки». В самом Ницше и философ, и художник уживались в некоем текучем континууме. Его философия танцует и празднует, она поэтична, она поет, но ей также свойственно резкое неприятие догматов и она несет в себе свободу, то есть, как было показано выше, ей присущи типичные черты научного проекта модерна.

Если рассматривать этот проект как движущую силу открытой, экспериментальной науки, то творческий процесс «разумно дерзкого письма» соотносится с поэзией и, в более широком смысле, с литературой. Фокус и направление как мышления, так и письма определяются не тем, что мы можем наблюдать, а скорее тем, что мы можем вообразить как некое чудо, которое мы надеемся найти за горизонтом. Подобно тому как Декарт в своей новой метафизике интуитивно возлагает надежды на чудеса геометрии и математики, или, в более широком смысле, на науку модерна, так и дерзновенное мышление стремится к неизвестному и неопределенному. Исследование становится в большей степени поиском смысла. Человек не просто хочет найти реальность такой, какая она есть, он также формирует мир актом этого поиска (см.: Gielen, Wynants 2020). Негри считает, что Декарту был не чужд такой подход: он хотел не только обнаружить факты такими, какие они есть, но и перестроить или по крайней мере изменить и мир, и космос одновременно. Вот почему Негри называет Декарта не только основателем современной науки, но и магом своего времени (Negri 1970: 47).

<sup>1</sup> Цитата дана по русскому переводу: *Адорно Т. Эссе как форма* / пер. с нем. И. Михайлова // *Своеволие философии* : собрание филос. эссе / сост. и отв. ред. О.П. Зубец. Москва : Издат. дом ЯСК, 2019. С. 71. – *Пер.*

<sup>2</sup> Цитата дана по русскому переводу: *Ницше Ф. Рождение трагедии* / пер. Г. Ра-чинского // *Ницше Ф. Полное собрание сочинений* : в 13 т. / общ. ред. И.А. Эбаноидзе. Москва : Культура. революция, 2012. Т. 1, ч. 1. С. 11. – *Пер.*

### **Темнота**

Жизнеспособность проекта модерна заложена на уровне соединения в нем строгого и образного мышления – и это соединение неоднозначно. Чтобы осознать радикальность модерна как исторического, поворотного момента, нужно понять, каким образом могут встретиться ученый и художник, искатель и созидатель, изобретатель и творец. Исследуя все то, с чем они сталкиваются, импровизируя при этом, дерзновенные ученые расчищают путь к далекому свету на горизонте. Их размышления близки скорее к эссеистике, нежели к научным трудам, поскольку они более открыты, умозрительны и ассоциативны, нежели закрыты или герметичны, логичны и аргументированы. Их методология феноменологична, даже эстетична. Они руководствуются всеми своими чувствами. Короче говоря, радикально современная наука не скована строгими ограничениями, она прокладывает себе дорогу сквозь реальность. Разумно дерзкие мыслители создают лучшую реальность с должной для того гибкостью.

Сегодня особенно полезно оглянуться назад, в те времена, когда ученые еще могли счастливо мечтать. В конце концов, именно энергия, высвобожденная мечтой о прогрессе: надежда на лучшую, более счастливую и полноценную жизнь в сочетании с безотчетной верой в то, что на нашей планете этого можно достичь, даже создать такую жизнь самим, положила начало проекту модерна и способствовала его развитию. Была создана перспектива далекого, но общего для всех нас горизонта, взгляд за который с тех пор блокируется аналитической философией, эмпирической социологией, когнитивной лингвистикой, классической экономикой и социально-политической наукой, в частности всеми теориями рационального выбора. Этот горизонт – перспектива непознанного, его нельзя эмпирически верифицировать, поскольку он – бесконечно далекое, прекрасное в своей эфемерности будущее. Райским и утопическим выглядит это бесконечно далекое место. Подобно любви, его зов может ослепить нас.

Возможно, лучшей метафорой здесь может служить миф о сиренах. Точно так же, как Улисс заставил команду своего корабля заткнуть уши, чтобы до них не доносился роковой зов сирен, наука наших дней, похоже, тоже блокирует большую часть своих чувственных переживаний (ощущений), чтобы ее корабль свернул с неизвестного курса в будущее, которое не поддается количественной оценке. Например, не является ли следование советам вирусологов и экономистов довольно-таки односторонним (количественным) ориентиром для преодоления кризиса COVID-19? Не определяется ли, таким образом, наивысшая цель исключительно как выживание в краткосрочной перспективе? Психологические, социальные и культурные условия, влияющие на качество жизни и совместного проживания людей, играют не очень заметную роль в политической повестке, а потому долгосрочная перспектива полноценной и яркой жизни остается за кадром (см.: De Munck, Gielen, 2020).

Красивый, яркий, но ослепляющий свет на горизонте, кажется, и сегодня пугает науку, заставляя ее игнорировать вопрос о лучшей жизни. Начиная с эпохи модерна наука стремится пролить свой свет на мир. Однако

на этом пути в формальном выражении она, похоже, теряет равновесие, рискуя ограничиться одними контурами светового пятна, отбрасываемого собственным (методологическим) фонарем. В наши дни исследователь предпочитает не тратить свое время на поиск смыслов во мраке домыслов и прочей «туманной» науке. Сегодня трудно найти ученого, отважившегося предложить научную гипотезу, работа над которой требовала бы лет двадцать, а то и промежуток больший, чем жизнь самого ученого, не говоря уже о том, что рейтинговое, престижное научное издательство или уважаемый журнал категории А1 осмелится опубликовать работу с таким умозрительным подходом к науке...

Это ограничивает мыслимое тем, что уже известно или может стать известным в краткосрочной перспективе. В настоящее время заявка на получение фондового финансирования для проведения исследования должна уже включать в себя ожидаемые результаты этого исследования. Романтические прыжки в неизведанную тьму или непредсказуемые дали больше не приветствуются. Никаких больше приключений вне контуров света, отбрасываемого фонарями самой науки. Осуществимое и поддающееся количественному измерению преобладает над тем, что могло бы быть возможным, а прагматизм одерживает верх над стремлением к идеалу. Похоже, что науки с годами утратили свой радикализм, сменив его на недальновидный формализм. Только то, что поддается количественной оценке, теперь выглядит разумным. Кроме того, этот научный формализм окутывается аполитичным и трансгисторическим туманом объективности и управленческого реализма, притворяется невинным и беспристрастным. В сущности, этот нарратив, предвещающий так называемый конец истории (см.: Fukuyama, 2006), продвигает конкретную идеологию, которая зиждется на том, что именно он и есть единственно возможный разумный нарратив. Обещание, которое формальный метод дает науке, сродни обещанию, которое технократия дает политике: первое сулит объективную истину, лишённую каких-либо эмоций или субъективности, второе – эффективное и благое управление, лишённое политической окраски или идеологии. Короче говоря, все это постполитика (см.: Mouffe 2005).

Утратив связь с историей и долговременную память, мы потеряли не только долгосрочную перспективу, но и (выраженное) направление движения, о чем упоминалось ранее. Когда дерзновенное воображение далекого горизонта было исключено тем, что «научно мыслимо» и «политически осуществимо», наука и политика продали свою мятежную душу модерну. Совершив эту сделку они также утратили игривость и веселость. Университеты превратились в безопасные, но скучные гавани для профессоров, ни на йоту не отступающих от своих методичек, исследователей, нацеленных на публикацию только в журналах категории А1, и прочих приверженцев формализма – это вращающаяся дверь для проходящих в науку и уходящих из нее карьеристов. Политически корректный активизм, который сегодня (возможно, неслучайно) также оперирует количественными критериями и другими «объективными» данными, еще терпят в стенах гуманитарных институтов и факультетов искусств. Но из института «всеобщего знания» вы-

теснены вольнодумцы и эрудиты широкого спектра, теперь там нет места мечтам, субъективизму, эмпатии и интеллектуальной смелости.

И поэтому воля к знаниям сводится к воле знать лишь то, что нужно, чтобы найти работу и получить профессию. Социальное стремление построить лучший мир сменяется стремлением построить собственную карьеру. И то, что имеет научное значение, все больше сводится к тому, что вписывается в очерченную траекторию формальной научной карьеры. Сегодня молодым исследователям лучше не отклоняться от данной траектории даже на миллиметр, поскольку конкуренция с их коллегами слишком высока. Таким образом, мыслимое все больше соответствует тому, какие размышления можно представить в рамках формализованного издания, а то, чему можно научить, сужается до того, что выгодно на рынке труда. И поэтому все, что не поддается количественному исчислению (как публикации или полученные дипломы), постепенно вытесняется из области науки. Отныне не «я мыслю, следовательно, я существую», а «со мной следует считаться, потому что меня посчитали, следовательно, я существую» (*англ.* I count because I am counted, therefore I exist) стало кредо современного исследователя, делающего карьеру в научном учреждении.

Но чем же этот профессиональный исследователь отличается от мыслителя раннего модерна, который изолировался от мира, чтобы лучше его понять? Оба не только принимают индивидуализм, но и используют формальный метод, чтобы систематически прокладывать себе путь. Разве ученые сегодня не уповают на миф о картезианском суверенном субъекте? И не прячут ли они свои личные амбиции за выстраиванием логических рассуждений и методологической проверкой реальности? Пакт между индивидуализмом и научным методом действительно можно найти у Декарта, но зададимся вопросом, не превратилась ли современная версия этого пакта в новую форму догматического мышления. Те, кто видят себя как Я, отделенное от мира, как автономные, рационально действующие личности (как до сих пор постулирует теория рационального выбора); те, кто чувствуют, что должны дистанцироваться, чтобы понять окружающий мир; те, кто постулируют цензуру как условие познания, не могут (да и не способны) полагаться на интуицию, эмпатию и эстетические чувства, чтобы сформировать ощущение окружающего мира, что соответствовало бы современным формализованным стандартам. В то время как мыслители раннего модерна были привержены принципам открытости, и потому их мировоззрение было открыто новым принципам и методам, сегодняшние ученые работают в сбившейся с курса научной индустрии, и их мировоззрение наглухо закрыто.

Для современных ученых формальный метод является единственным оставшимся рационально приемлемым способом сохранить связь с миром и войти в общественную жизнь. Только общий для всех метод может гарантировать наличие общего горизонта. Это напоминает стокгольмский синдром, при котором тот, кто ограничил нашу свободу и фактически запер нас, парадоксальным образом воспринимается нами как последняя надежда на спасение. Теперь всякая связь с миром и обществом опосредована

методологией, логикой или правилами, законами и процедурами, которым необходимо следовать. Тех, кто методично закрывается от мира, только метод еще может связать с коллективным началом. Только когда все следуют одному и тому же методу, становится возможным общее восприятие реальности, и тогда общее мировоззрение может породить сам дух общности. Между прочим, неудивительно, что при таком способе мышления любой спор о методе всегда можно свести к борьбе за власть или к борьбе за власть, по крайней мере, в пределах университета.

По сравнению с чувственно воспринимаемым бытием-в-мире методическое опосредование *себя и мира* приводит к бесплодной связи с окружением, в котором нет жизни, так же как технократия не допускает теплых отношений с политическим сообществом. Кажущаяся объективность самого метода в конце концов порождает расколдованный мир. Этот холодный способ связи заставляет современного мыслителя, находящегося в изоляции, с ностальгией смотреть в прошлое, где эмоциональная связь все еще была возможной. Согласно Негри, изолировавший себя Декарт горевал об утрате гуманизма человека эпохи Возрождения. Вместе с тем, чувственная связь с целостной реальностью, вероятно, была одной из причин, почему французский мыслитель продолжал верить в то, что людские переживания могут проложить дорогу к знаниям. Но разве нынешние профессиональные исследователи не пребывают в таком же меланхолическом настроении? Не жаждут ли они также обрести связь с местным сообществом или по крайней мере с интеллектуальной его частью? И разве они не желают также познать мир через эмпатию к нему, испытывать к нему теплые чувства? Или современные ученые довольствуются логикой и поддающимися проверке формальными методами, сочетающимися с некоторой долей политкорректного (расчетливого и заслуживающего доверия) активизма?

### ***Связующая сила***

Сегодня мечта почти сошла на нет. Медленно, но верно эстетическое (основанное на чувствах) знание отодвигается на обочину современной науки. Таким образом, не разумное, а расчетливое мышление (поскольку плоды его можно подсчитать по научным публикациям) формирует новую неолиберальную метафизику науки. Когда мечта ученого не устремляется дальше того, чтобы занять высшую достижимую ступень в научной карьере; когда высшие социальные цели, стремление к общему благополучию и лучшей, более гуманной жизни сводятся к личной выгоде, наука не только теряет долгосрочную перспективу, но и свою обязывающую силу. Особенно в гуманитарных науках, но, как ни странно, и в социальных науках тоже, коллективная мечта и цель достижения общего счастья и благополучия разрушаются индивидуальными, более или менее умными шагами карьеристов. Когда искусство и наука, воображение и методология, чувственный опыт и эмпирическое наблюдение больше не могут быть созвучны, тогда рассеивается и общая энергия, необходимая для объединения усилий в поддержку проекта модерна. Или, как выразился Негри, мечта теряет свою силу как «коллективный инструмент подрывной деятельности» (Negri 1970: 12).

Перефразируя слова Джамбаттисты Вико, процитированные нами в начале статьи, можно сказать, что тирания жесткой научной конкуренции разрушает солидарность, из-за неё люди не могут набраться смелости мечтать и путешествовать вместе, создавать союзы и двигаться сообща к неизвестному горизонту.

Из страха быть ослепленной современная наука отказывается смотреть на свет на горизонте, теряясь на фоне постмодернистского ропота. Нет больше того грандиозного повествования, которое было способно объединять умы и сердца, которое осмеливалось вести за собой массы. И да, конечно, большой нарратив модерна вводил в заблуждение и приносил бедствия множеству людей в прошлом. Постмодернизм убедительно доказал это. Но действительно ли этот великий нарратив исчез как следствие наступления постмодернизма? В конце концов жесткая конкуренция на рынке научных публикаций в сочетании с методологическим фетишизмом современной науки также приводит к нарративу, который оставляет мало пространства для вариативности (см.: DiMaggio, Powell 1983). Происходит это через конкурентный и институциональный изоморфизм (формальный метод здесь выступает как институт). Тот, кто читает научные журналы по определенной дисциплине, а также тот, кто часто посещает биеннале или театральные фестивали, не может не заметить, что и исследователи, и художники часто занимаются одним и тем же, что неизбежно приводит к применению сходных методов. Означает ли все это, что у нас все-таки есть новая мечта?

В любом случае кажется, что доминирующий нарратив все еще существует, но уже без погони за общей мечтой. Проще говоря, в то время как ранний нарратив модерна о прогрессе осмеливался двигать нас всех к утопии, сегодня каждый пытается самостоятельно избежать спроецированной (экологической, экономической, социальной, ментальной или вирусной) антиутопии. Если проект модерна изначально был нацелен на лучшее будущее, то его сегодняшняя траектория, похоже, направлена на то, чтобы избежать худшего, – и все. Мышление и действия ныне не направлены к свету, а нацелены на то, чтобы не наступила тьма. Воображение ныне служит не для того, чтобы придать мысленную форму прекрасному и возвышенному, а для того, чтобы попытаться избежать худшего сценария путем мгновенного решения всех проблем. Грандиозные планы и стратегии уступают место техническим и тактическим действиям. Воображение не может позволить себе заглядывать в перспективу – оно призвано находить творческие решения здесь и сейчас. Таким образом, современный проект модерна теряет свой дерзкий, жизнеутверждающий характер, а науке не хватает умозрительного воображения, которое могли бы дать искусство, игра, веселье и, конечно же, красота.

Перевод и примечания Я.Ю. Моисеенко

Научная редакция перевода М.С. Ильченко, В.С. Мартьянова

Translated from English by Ya.Yu. Moiseenko

Academic editing by M.S. Ilchenko, V.S. Martianov



References

- Adorno T.W. 1984. The Essay as Form, transl. by B. Hullot-Kentor & F. Will *New German Critique*, no. 32 (Spring – Summer), pp. 151-171.
- Adorno T.W., Horkheimer M. 2002. *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments*, G. Schmid Noerr (ed.), E. Jephcott (trans.), Stanford, Stanford Univ. Press. 298 p.
- Bacon F. 2000. *The New Organon*, L. Jardine & M. Silverthorne (ed.), Cambridge, Cambridge Univ. Press. 292 p.
- Bacon F. 2001. *The Advancement of Learning*, b. 2, New York, Random House. 254 p.
- Munck de M., Gielen P. 2020. *Nearness. Art and Education after Covid-19*, Valiz, 64 p.
- Descartes R. 1984. *The Philosophical Works of Descartes. Vol. 1, 2*. Cambridge.
- Descartes R. 1991. *The Philosophical Works of Descartes. Vol. 3*. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 418 p.
- DiMaggio P.J., Powell W.W. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, *American Sociological Review*, vol. 48, iss. 2, pp. 147-160.
- Fukuyama F. 2006. *The End of History and the Last Man*, Reissue ed., New York, Free Press, 418 p.
- Gielen P. 2020. Sensuous Science. On the Threshold between Fact and Fiction, N. Wynants (ed.) *When Fact is Fiction. Documentary Art in the Post-Truth Era*, Valiz.
- Gielen P., Wynants N. 2020. In Quest of the Humanities (Again): What We Can Learn from Research in the Arts, *Documenta*, vol. 34, iss. 1, pp. 160-185.
- Goehr L. 2008. Explosive Experiments and the Fragility of the Experimental, Elective Affinities. *Musical Essays on the History of Aesthetic Theory*, Columbia Univ. Press, pp. 108-135.
- Henry J. 2006. *The Secret Life of an Alchemist: Francis Bacon's Real Philosophy of Nature*, Lecture given to the Francis Bacon Society in August 2006, available at: <http://www.sirbacon.org/henryalchemist.htm> (accessed November 12, 2020).
- Hopkins V.C. 1958. Emerson and Bacon, *American Literature*, vol. 29, no. 4, pp. 408-430.
- Mouffe C. 2005. *On the Political*, London, New York, Routledge, 160 p.
- Kant I. 2003. *Critique of Pure Reason*, H. Caygill (trans.), A.W. Wood and P. Guyer (eds.), Penguin Books.
- Negri A. 1970. *The Political Descartes: Reason, Ideology and the Bourgeois Project*, London, Verso, 344 p.
- Nietzsche F. 1993. *The Birth of Tragedy Out of the Spirit of Music*, S. Whiteside (trans.), M. Tanner (ed.), London, New York, Penguin Books, xxxi, 120 p.
- Nietzsche F. 1974. *The Gay Science. With a Prelude in Rhymes and an Appendix of Songs*, W. Kaufmann (trans.), New York, Vintage Books, xviii, 396 p.
- Pesic P. 1999. Wrestling with Proteus: Francis Bacon and the “Torture” of Nature, *Isis*, vol. 90, no. 1, pp. 81-94.
- Schiller F. von. 1967. *On the Aesthetic Education of Man in a Series of Letters*, E.M. Wilkinson and L.A. Willoughby (trans.), Oxford, Clarendon Press, 372 p.
- Vico G.B. 1999. *New Science: Principles of the New Science Concerning the Common Nature of Nations*, J. Taylor and R.C. Miner (trans.), London, Penguin Books, 520 p.
- Weber M. 2004. *Science as Vocation*, Indianapolis, Cambridge, Hackett Books.

*ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ*

**Марлиз де Мунк**

Доктор философии, руководитель художественных исследований в Королевской консерватории Антверпена и Королевской консерватории Гента, преподаватель философского факультета Антверпенского университета, г. Антверпен, Бельгия;  
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3451-925X>

**Паскаль Гилен**

Профессор социологии культуры и политики Антверпенского университета, г. Антверпен, Бельгия;  
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2846-4328>

*INFORMATION ABOUT THE AUTHORS*

**Marlies De Munck**

PhD in the philosophy of, she currently teaches at the Philosophy Department of the University of Antwerp and is supervisor of artistic research at the Royal Conservatory of Antwerp and the Royal Conservatory of Ghent, Antwerp, Belgium;  
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3451-925X>

**Pascal Gielen**

Professor Sociology of Culture & Politics, University of Antwerp, Antwerp, Belgium;  
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2846-4328>



Тейлор Ч. Современный моральный порядок. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_26 // Антиномии. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 26–41.

УДК 177

DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_26

## Современный моральный порядок<sup>1</sup>

**Чарльз Тейлор**

университет Макгилла  
Монреаль, Канада

*Поступила в редакцию 22.08.2022*

Данная публикация представляет собой перевод первой главы монографии Чарльза Тейлора «Современные социальные воображаемые» (“Modern Social Imaginaries”, 2004). В центре внимания автора находится гипотеза о том, что можно пролить свет как на первоначальные, так и на актуальные противоречия понимания модерна/современности, если принять во внимание, что модерн неразрывно связан с определенным видом социального воображаемого. Различия между выделяемыми исследователями множественными современностями необходимо также проводить с точки зрения вовлеченных в них социальных воображаемых. Центральное место в западной современности занимает новая концепция морального общественного порядка. Сложившись в умах некоторых влиятельных мыслителей Нового времени (Гуго Гроция, Джона Локка и др.), эта концепция в дальнейшем стала формировать социальное воображение широких слоев населения, а затем и целых обществ. Теперь современный моральный порядок стал настолько самоочевидным, что его сложно рассматривать лишь как одну из возможных концепций. Результатом этого доминирования концепции порядка в нашем социальном воображаемом стало появление определенных социальных форм, которые характеризуют сущность западной современности: рыночной экономики, устройства общества, самоуправления и т.п.

*Ключевые слова:* модерн/современность, социальное воображаемое, моральный порядок, современная концепция морального порядка

## The Modern Moral Order

**Charles Taylor**

McGill University  
Montreal, Canada

*Received 22.08.2022*

<sup>1</sup>Перевод выполнен с любезного разрешения автора по изд.: Taylor Ch. Modern Social Imaginaries. Durham ; London ; Duke Univ. Press, 2004. P. 3-22.



© Тейлор Ч., 2022

*Abstract.* This work is a translation of the first chapter from Charles Taylor's book "Modern Social Imaginaries". The author focuses on the hypothesis that we will be able to shed the light on both initial and contemporary contradictions in the understanding of modernity, if we take into account that modernity is inextricably linked with a certain kind of social imaginary. Distinctions between multiple modernities should be as well understood in terms of social imaginaries involved. Central to Western modernity is a new conception of the social moral order. Initially formed in the minds of several influential intellectuals, this concept later started to shape social imagination of different social groups, and then of societies. Nowadays the modern moral order has become so self-evident to us that it is difficult to consider it as just one of the possible concepts. One of the results of this order dominating over other conceptions in our social imaginary was the emergence of certain social forms that characterize the essence of Western modernity: a market economy, the public sphere, self-government, etc.

*Keywords:* Modernity; social imaginary; moral order; the modern concept of the moral order

*For citation:* Taylor Ch. The Modern Moral Order, *Antinomies*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 26-41. (in Russ.). DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_26.

Начну с нового видения морального порядка. Наиболее ясно оно было сформулировано в теориях естественного права, возникших в XVII столетии главным образом в качестве ответа на внутренние и международные беспорядки, вызванные религиозными войнами. В настоящем исследовании я в первую очередь буду ссылаться на Гуго Гроция и Джона Локка, чьи теории в наибольшей степени отвечают поставленным целям.

Гроций выводит нормы права, лежащие в основе политического общества, из природы составляющих это общество членов. Люди видятся ему рациональными, общительными «агентами», которым предназначено мирно сотрудничать друг с другом, что ведет к их взаимной выгоде. Начиная с XVII столетия эта идея все больше и больше доминирует в политическом мышлении и представлениях об обществе. Она берет свое начало в теории Гроция о том, что такое политическое общество, чему оно служит и как оно возникает. Но любая теория такого рода неизбежно выдвигает идею своего морального порядка: она рассказывает кое-что о том, как мы должны вести совместную жизнь в обществе.

Образ общества – это образ индивидуумов, собранных вместе, чтобы на основе существовавшего ранее морального фона сформировать политическую единицу с определенными целями. Моральная основа общества – это одно из естественных прав; люди уже имеют определенные моральные обязательства по отношению друг к другу. Искомые цели общества – это определенные выгоды, разделяемые всеми, наиболее важной из которых является безопасность.

Идея, лежащая в основе морального порядка, подчеркивает права и обязанности, которыми мы обладаем по отношению друг к другу как личности – даже до образования политических уз или вне их пределов. Политические обязательства рассматриваются нами как следствие или расширение области применения этих более фундаментальных моральных уз.

Политическая власть сама по себе легитимна только потому, что на нее было получено согласие отдельных лиц (первоначальный договор), и этот договор создает обязательства, связывающие их, в силу существовавшего ранее принципа, согласно которому обещания должны выполняться.

В свете того, что позже вывел из этой договорной теории Джон Локк, поразительно, насколько скромны морально-политические выводы, которые из нее делает Гроций. Идея о том, что политическая легитимность должна основываться на согласии пришла не для того, чтобы поставить под сомнение полномочия существующих правительств. Скорее ее цель – устранить причины восстания, к которому слишком безответственно призывают фанатики, представляющие разные конфессии, ведь легитимность существующих режимов в конечном итоге была основана на некотором согласии такого рода. Гроций также стремится дать прочные обоснования, выходя за рамки религиозных распрей, законам войны и мира. В контексте начала XVII в. с его непрекращающимися ожесточенными религиозными войнами этот акцент был вполне понятен.

Именно Джон Локк впервые использует эту теорию как оправдание революции и как основание для ограничений, возлагаемых на государство. Права теперь могут быть коренным образом противопоставлены власти. Согласие – это не просто первоначальное соглашение о создании государства, а длящееся согласие граждан платить этому государству налоги.

В течение следующих трех столетий, от Локка до наших дней, основная идея общества как образования, существующего для получения (взаимной) выгоды людей и защиты их прав, приобретает все большее значение. И это несмотря на то, что «договорная» риторика используется меньшинством современных теоретиков. Таким образом, эта идея становится доминирующей, оттесняя на обочину политической жизни и дискурса как старые общественные теории, так и новых соперников, порождая при этом далеко идущие притязания на интерпретацию политической реальности. Требование первоначального согласия, пройдя через компромисс Локка по поводу налогообложения, становится полноценной доктриной народного суверенитета – в соответствии с ней мы сейчас живем. Теория естественного права в конце концов порождает плотную паутину ограничений законодательной и исполнительной деятельности посредством принятия хартий, которые становятся важной чертой государства модерна. Презумпция равенства, выступавшая исходным пунктом естественного состояния, когда люди пребывают еще вне всяких отношений превосходства друг над другом<sup>1</sup>, применялась во все большем количестве контекстов, в том числе в многочисленных положениях о равном обращении с людьми или запрете

---

<sup>1</sup> Во втором трактате о правлении Джон Локк определяет естественное состояние как состояние, «при котором вся власть и вся юрисдикция являются взаимными, – никто не имеет больше другого. Нет ничего более очевидного, чем то, что существа одной и той же породы и вида, при своем рождении без различия получая одинаковые природные преимущества и используя одни и те же способности, должны также быть равными между собой без какого-либо подчинения или подавления, если только господь и владыка их всех каким-либо явным проявлением своей воли

на дискриминацию, которые являются неотъемлемой частью большинства прошедших проверку временем современных нормативных документов.

Другими словами, за последние четыре столетия идея морального порядка претерпела «расширение» в двух измерениях: распространилась область ее воздействия (ею живет больше людей; она стала доминирующей), а также её требования стали глубже и разветвленнее. Идея как будто прошла ряд «редакций», каждая последующая «редакция» была богаче и требовательнее предыдущей, и так продолжалось вплоть до наших дней.

Расширение идеи морального порядка можно отследить несколькими способами. Современный дискурс естественного права зародился в довольно специализированной нише. Он предоставил философам и теоретикам права тот язык, на котором они могли говорить о легитимности правительств и правилах ведения войны и организации мирной жизни, зарождающихся доктринах современного международного права. Но затем он начал проникать в другие ниши и трансформировать их дискурс. Один из таких случаев, который сыграл решающую роль в этом повествовании, как раз заключается в том, что новая идея морального порядка начинает видоизменять представления о Божественном провидении и законе, который Господь установил среди людей и во всем мироздании.

Для сегодняшней жизни еще важнее то, что эта идея начинает занимать все более центральное место в наших представлениях об обществе и политике, преобразуя последние. В ходе этого «расширения» идеи морального порядка из оживляющей дискуссию нескольких экспертов она превращается в составную часть нашего социального воображаемого, то есть в то, как наши современники представляют общества, в которых они живут. Мигрируя из одной ниши в другие, из теории в социальное воображаемое, «расширение» также происходит и «по третьей оси координат», что определяется типами требований, которые моральный порядок нам выдвигает.

Иногда концепция о моральном порядке не подразумевает реального ожидания, что он будет всецело установлен. Что вовсе не означает отсутствия ожиданий как таковых, иначе такая концепция не была бы идеей порядка в том смысле, в котором здесь используется этот термин. Она будет рассматриваться как нечто, к чему нужно стремиться, и это стремление будет реализовано некоторыми из нас, но общий смысл может заключаться в том, что только у меньшинства действительно получится следовать этому порядку, по крайней мере, в нынешних условиях.

Таким образом, христианское Евангелие порождает идею общины святых, одухотворенных любовью к Богу, друг к другу и человечеству, общины, где нет соперничества, взаимных обид, члены которой лишены корыстолюбия, честолюбия, желания властвовать и т.п. В Средние века существовало представление, что только меньшинство святых действительно стремится

---

не поставит одного над другим и не облечет его посредством явного и определенно назначенного бесспорным правом на господство и верховную власть» (Locke 1967: 287; Локк 1988: 263-264, здесь и далее ссылки на цитаты, которые приводятся по русским переводам, представлены комплексно. – *Пер.*).

к этому, и что святым приходится жить в мире, который сильно отклоняется от этого идеала. Но в назначенный срок таким будет порядок тех, кто соберется вокруг Бога в последнем устройении. Здесь можно говорить не просто о некоем ничем не оправданном идеале, но о моральном порядке, поскольку он мыслится как нечто, что находится в процессе реализации. Но время для завершения этого проекта еще не пришло.

Отдаленной аналогией этого, проведенной в другом контексте, могут служить некоторые современные определения утопии как уклада, который может быть когда-нибудь установлен, но в то же время служит стандартом, которым следует руководствоваться. Несколько иначе обстоит дело с порядками, требующими более или менее полной реализации здесь и сейчас. Можно понимать это двояко. С одной стороны, порядок (закон) предназначен для исполнения; он лежит в основе нормального положения вещей. Подобного толка были многие средневековые концепции политического устройства. В теории «двух тел короля»<sup>1</sup> через индивидуальное (биологическое) существование монарха проявляется его бессмертное тело. При отсутствии исключительных, и даже постыдным образом противоречащих норме обстоятельств, например ужасной узурпации власти, порядок (закон) осуществляется во всей полноте. Нам предлагается не столько рецепт, сколько ключ к пониманию реальности, как это делает великая цепь бытия по отношению к окружающему нас мирозданию. Она дает нам герменевтический ключ к реальности.

Но моральный порядок может пребывать в ином отношении к действительности, он может быть не реализован, но требовать целостного воплощения. Он дает императивное предписание. Суммируя эти различия, можно сказать, что идея морального или политического порядка может либо требовать предельного воплощения, как в «сообществе святых», либо предназначаться для исполнения «здесь и сейчас». В последнем случае она может иметь либо герменевтическую, то есть описательную, либо предписывающую природу.

Современное представление о порядке, в отличие от средневекового христианского идеала, с самого начала рассматривалось как представление о том, что есть «здесь и сейчас». Но по мере своего развития, оно все более становится предписывающим, утрачивая описывающий (герменевтический) смысл. Истолкованное в оригинальном ключе, как в работах Гроция и Пуфендорфа, это представление несло в себе смысл, что моральный порядок (закон) должен быть в основе существующих государств – будучи основанными на предполагаемом учредительном договоре, эти государства пользовались несомненной легитимностью. Теория естественного права по своему происхождению являлась своего рода герменевтикой этой легитимации.

Но уже у Локка политическая теория может оправдать революцию, при определенных обстоятельствах даже придать ей моральный импера-

---

<sup>1</sup>Теория названа по книге Эрнста Канторовича, которая под этим названием не раз издавалась в России, см.: Канторович Э. Два тела короля : Исследование по средневековой политической теологии. Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. 744 с. – Пер.

тив; в то же время другие общие для человеческой морали черты создают герменевтику легитимности по отношению, например, к собственности. Позднее это понятие порядка будет вплетено в редакции, требующие еще более революционных изменений, в том числе в отношении собственности, что отражено во влиятельных теориях, таких как, например, теории Руссо и Маркса. Таким образом, перемещаясь из одной ниши в другую и мигрируя из теории в социальное воображаемое, современная идея порядка также движется по своей «третьей оси», и порождаемые ею дискурсы выстраиваются вдоль линии движения от описания к предписанию. В процессе изменений эта идея переплетается с широким спектром этических концепций, но получившиеся в результате мутации имеют нечто общее: понимание политического и морального порядка, сформировавшееся на основе современной теории естественного права.

Подобное расширение «по трем осям системы координат», безусловно, примечательно. Необходимо дать ему объяснение; однако у меня нет намерений пролить свет на причины становления современного социального воображаемого – мои задачи здесь довольно конкретны. Я буду счастлив, если удастся хоть сколько-то прояснить формы, которые это расширение приняло. Это поможет сфокусироваться на причинах, по поводу которых позже я предложу несколько неструктурированных соображений. А пока хочу подробнее изучить особенности этого современного порядка.

Важнейший момент, очевидный из вышеизложенного, заключается в том, что понятие морального порядка, которое я использую, выходит за рамки перечня норм, которые должны управлять нашими взаимоотношениями и/или политической жизнью. Понимание морального порядка добавляет нечто к осознанию и принятию норм: оно выявляет черты мира, Божественного действия или человеческой жизни, которые делают определенные нормы правильными и (до указанного момента) реализуемыми. Иными словами, образ порядка несет в себе определение не только того, что правильно, но и того контекста, в котором имеет смысл стремиться и надеяться реализовать право (хотя бы частично).

Ясно, что образы морального порядка, возникшие в результате ряда трансформаций из теории естественного права Гуго Гроция и Локка, довольно сильно отличаются от образов, что были заложены в социальном воображаемом досовременной эпохи (в эпохе преמודерна). Здесь стоит выделить два важных типа морального порядка преמודерна, потому что мы можем наблюдать, как в процессе перехода к политическому модерну они постепенно вытесняются гроцианско-локковской версией или же маргинализируются ею. Один порядок основан на идее народного закона, который управляет народом с незапамятных времен и который в некотором смысле определяет его как народ. Эта идея, по-видимому, была широко распространена среди индоевропейских племен, которые на разных исторических этапах проникали в Европу. В Англии XVII в. она нашла выражение в очень популярной теории «древней конституции», которая стала ключом к оправданию восстания против короля (см.: Роскок 1987).



Этого примера вполне достаточно, чтобы показать: древняя идея народного закона не всегда является устаревшей. Но мы должны также включить в эту категорию ощущение «нормативного порядка», которое, судя по всему, передавалось из поколения в поколение в крестьянских общинах и на основе которого у крестьян выработалось собственное представление о «моральной экономике»<sup>1</sup>. С ее позиций они могли критиковать бремя, возложенное на них землевладельцами, критиковать поборы, взимаемые с них государством и церковью. «Моральная экономика», вероятно, тоже стала выражением идеи о том, что первоначальное распределение бремени, которое крестьяне считали приемлемым для себя, сменилось несправедливым распределением, и этот новый для них порядок должен быть отменен.

В основе другого типа морального порядка лежит понятие социальной иерархии, которое, в свою очередь, выражает идею иерархии в мироздании и соотносится с ним. Теоретические дискуссии вокруг этого понятия часто происходят с использованием определений из платоновско-аристотелевской теории форм, но лежащее в основе понятие также четко проявляется в теориях соответствия: например, король в своем государстве, как лев среди животных, орел среди птиц и т.п. Именно отсюда возникает идея, что беспорядки в человеческом царстве найдут отклик в природе, потому что сам порядок вещей находится под угрозой<sup>2</sup>. Ночью, в которую был убит король Дункан, «в воздухе носились рыдания, смертный стон и голоса, пророчившие нам годину бедствий и смут жестоких. Птица тьмы кричала всю ночь, и, говорят, как в лихорадке, тряслась земля. <...> В минувший вторник был гордый сокол пойман и растерзан охотницею на мышей совой... а кони короля... взбесились в стойлах, сломали их и убежали, словно войну с людьми задумали затеять» (*Macbeth*, 2.3.56; 2.4.17-18)<sup>3</sup>.

В обоих типах морального порядка, особенно во втором случае, мы имеем дело с порядком, который как будто навязан положением вещей; его нарушения встречают негативную реакцию, выходящую за пределы чисто человеческой сферы. Представляется, что это характерная черта преמודернистских представлений о моральном порядке. Анаксимандр уподобляет несправедливости любое отклонение от природного хода вещей и говорит, что все, кто противится природе, должны в конце концов «понести наказание за проявленную несправедливость согласно тому, что решит время» (цит. по: Dupre 1993: 19)<sup>4</sup>. В подобном ключе говорит о порядке вещей и Гераклит: он замечает, что если когда-нибудь Солнце отклонится от назначенного ему курса, эринии схватят его и потащат обратно<sup>5</sup>. И, конечно

<sup>1</sup> Термин «моральная экономика» заимствован у Э.П. Томсона (Thompson 1971).

<sup>2</sup> См.: (Taylor 1992: 298).

<sup>3</sup> Макбет. Акт 2, сц. 3, 4. Пер. с англ. Ю. Корнеева. – Пер.

<sup>4</sup> В российском академическом издании см.: «Анаксимандр (по Симплицию Phys. 24, 13): из чего все вещи получают свое рождение, в то все они и возвращаются, следуя необходимости. Все они в свое время наказывают друг друга за несправедливость» (Соколов и др. 1969: 273). – Пер.

<sup>5</sup> «...Солнце не преступит надлежащих границ, а не то его разыщут Черноокие союзницы Правды» (цит. по: Sabine 1961: 26; Лебедев 1989: 220).

же, формы Платона деятельны в создании вещей и событий в изменчивом мире.

В этих случаях совершенно очевидно, что моральный порядок есть нечто большее, чем просто набор норм; он также содержит то, что мы могли бы назвать онтическим компонентом, идентифицирующим черты мира, которые делают эти нормы реализуемыми. Современный порядок, идущий от Гроция и Локка, не является самореализующимся в том смысле, в каком его понимают Гесиод или Платон или как в «Макбете» реагирует мироздание на убийство Дункана. Поэтому заманчиво предположить, что современные представления о моральном порядке полностью лишены этого онтического компонента. Но это предположение было бы ошибкой. Есть важное отличие, которое заключается в том, что данный компонент теперь является скорее чертой самих людей, он больше не касается Бога или мироздания, так что дело совсем не в предполагаемом отсутствии онтического измерения как такового.

Характерные черты современного понимания порядка становятся наиболее ясными, если сосредоточиться на том, чем идеализации теории естественного права отличаются от идеализаций тех теорий, что господствовали раньше. Социальные образы премодерна, особенно иерархического типа, были структурированы различными способами, где одни компоненты дополняли другие. Общество считалось состоящим из разных порядков. Эти порядки нуждались один в другом и дополняли друг друга, но это не означало, что их отношения были по-настоящему взаимными, потому что они не существовали на одном уровне. Скорее, они формировали иерархию, в которой одни порядки имели большую ценность, чем другие. Примером этого может служить часто воспроизводимая в обществе схема трех сословий, (столь идеализированная в Средневековье): *oratores, bellatores, laboratores* – тех, кто молится, тех, кто сражается, и тех, кто работает. Было ясно, что каждое сословие нуждалось в другом, но нет сомнения, что перед нами нисходящая шкала социальной значимости; одни социальные функции были по своей сути выше других.

Для идеала подобного общества трех сословий крайне важно, чтобы распределение функций само по себе было ключевой частью нормативного порядка. Дело не только в том, что каждый порядок должен выполнять присущую ему функцию для других, при условии, что они вступили в эти отношения обмена, в то же время мы оставляем открытой возможность, что порядок вещей может быть несколько иным (например, мир, где каждый понемногу молится, воюет и работает). Сама иерархическая дифференциация рассматривается как надлежащий порядок вещей, присущий природе или форме общества. Согласно платоновской и неоплатонической традициям эта форма уже действовала в мире, и любая попытка отклониться от нее обращала реальность против самой себя. Общество было бы развоплощено в попытке уйти от этой модели. Отсюда огромная сила «органической» метафоры в этих более ранних теориях. «Организм» кажется образцовым примером того, кто стремится залечить свои раны или вылечиться от болезни. В то же время, распределение функций, которые он демонстрирует, далеко

не случайно; оно «нормально» и правильно. То, что ноги расположены ниже головы – это и есть норма, так и должно быть.

Современная идеализация порядка в корне расходится с прежней. Дело не только в том, что в ней нет места платоновской форме: поэтому любое распределение социальных функций считается случайным; оправданно оно или нет – будет определяться инструментально; оно не является благом само по себе. Основной нормативный принцип состоит в том, что члены общества реализуют потребности друг друга, помогают друг другу, то есть ведут себя как разумные, коммуникабельные существа, коими они и являются. Таким образом, они дополняют друг друга. Но конкретная дифференциация функций, которую им необходимо провести для наиболее эффективного выполнения задачи, не имеет существенной ценности. Она случайна и в перспективе может измениться. В некоторых случаях распределение функций может быть временным, как в греческом полисе, где граждане могли по очереди участвовать в управлении. В других случаях требуется пожизненная специализация, но в этом нет внутренней ценности, и все призвания равны в глазах Бога. Так или иначе, современный порядок не придает онтологического статуса иерархии или какой-либо конкретной структуре дифференциации.

Иными словами, основной чертой нового нормативного порядка является взаимное уважение и помощь друг другу составляющих общество индивидов. Понимание разницы между новыми и существовавшими ранее структурами осложняется тем, что более старые порядки также обеспечивали своего рода взаимное служение: духовенство молилось за мирян, а миряне защищали духовенство или работали для него. Но решающим моментом является именно это деление на типы в их иерархическом порядке, тогда как в новом понимании порядка во главу угла ставятся индивидуумы и их долг, состоящий в оказании взаимопомощи другим индивидуумам, а распределение функций связано с тем, как исполнить этот долг наиболее эффективно.

Так, Платон в «Государстве» начинает с рассуждений о переходе от несамостоятельности индивида к необходимости установления порядка «взаимного служения». Но довольно быстро становится ясно, что основным моментом для него является структура этого порядка. Последние сомнения рассеиваются, когда мы видим, что этот порядок предназначен для проведения аналогии с нормативным порядком в душе человека. Напротив, в идеальных представлениях модерна основное внимание акцентируется на взаимном уважении, вне зависимости от того, каким образом удастся добиться такого взаимного служения, каким бы образом они ни были достигнуты.

Я упомянул два отличия, которые выделяют этот идеал на фоне более раннего платоновского иерархического порядка: форма больше не действует в реальности, распределение функций само по себе более не является нормативным. С этим связано и третье отличие. У Платона взаимное оказание услуг, которые классы предоставляют друг другу, когда находятся в правильных отношениях, включает в себя приведение этих классов

в состояние наивысшей добродетели; порядок как бы оказывает услуги всем, кто ему подчиняется. Но в идеале модерна взаимное уважение и помощь направлены на служение нашим обычным целям: жизни, свободе, обеспечению себя и своей семьи. Об организации общества, как я сказал выше, судят не по внутренней форме, а по его инструментальности. Теперь можно добавить, что то, для чего эта организация является инструментом, касается базовых условий нашего существования в качестве свободных агентов, при этом она не касается совершенства добродетели. Хотя мы можем решить, что нам нужна высокая степень добродетели, и можем сыграть надлежащую роль в ее становлении.

Таким образом, основной услугой<sup>1</sup>, которую мы оказываем друг другу, (выражаясь языком более поздних времен) является обеспечение коллективной безопасности, безопасности наших жизней и имущества в соответствии с законом. Но мы также служим друг другу, практикуя экономический обмен. Эти две главные цели – безопасность и процветание – становятся основными целями организованного общества, которое само можно рассматривать как подобие выгодного обмена между его членами. Идеальный общественный строй – это такой строй, в котором наши цели совпадают, и каждый, продвигая себя, помогает продвижению других.

Этот идеальный порядок не считался человеческим изобретением. Скорее, он был задуман Господом – порядок, который организован в соответствии с Божьими целями. В XVIII столетии та же самая модель проектируется на мироздание – Вселенная видится как набор идеально взаимосвязанных частиц, в котором цели каждого вида совпадают с целями всех остальных существ. Этот порядок задает цель нашей созидательной деятельности, поскольку в наших силах его нарушить или реализовать. Конечно, когда мы обобщаем, мы видим, насколько порядок уже реализован. Но когда мы бросаем взгляд на человеческие дела, мы видим, насколько мы отклонились от цели и нарушили его; и порядок становится нормой, к которой мы должны стремиться вернуться.

Считалось, что этот порядок в природе вещей. Конечно, если мы обращаемся к Откровению, мы также находим сформулированное в нем требование соблюдать порядок. Но только разум может рассказать нам о Божьих замыслах.

Живые существа, в том числе и мы сами, стремятся сохранить себя: «...бог сотворил человека и вложил в него, как и во всех других животных, сильное желание самосохранения и для осуществления своего замысла – чтобы человек жил и пребывал какое-то время на лице Земли – в изобилии снабдил мир вещами, пригодными для употребления в пищу и изготовления из них одежды и для удовлетворения других жизненных потребностей, с тем чтобы столь изящное и чудесное произведение искусства не погибло тут же опять из-за собственной небрежности или отсутствия предметов первой необходимости... бог... говорил с человеком, т. е. направлял его с помощью его чувств и разума... на использование тех вещей, которые могли

---

<sup>1</sup> В эпоху модерна. – Пер.

пригодиться ему для поддержания его существования и были даны ему как средства для его *сохранения*. <...> Ибо, поскольку желание, сильное желание сохранить свою жизнь и бытие было как принцип действия заложено в нем самим богом, разум, “который был в нем голосом бога”, не мог не внушить ему и не заверить его, что, следуя своей естественной склонности к сохранению своего существования, он выполняет волю своего творца...” (Locke 1967: 223; Локк 1988: 204-205).

Наделенные разумом, мы осознаем, что не только наша собственная жизнь, но и жизнь всех людей должна быть сохранена. Господь сотворил нас социальными существами, поэтому «каждый должен, насколько может, стараться сохранить человечество – по той же самой причине, из-за которой он обязан хранить самого себя, а не оставлять этот мир по собственной воле – если только ему самому не приходится бороться за выживание» (Locke 1967: 289, а также 376; см. также: Locke 1889: paragraph 116).

Локк полагает, что Господь дал нам силу разума и дисциплину, чтобы мы могли эффективно заниматься самосохранением, а значит, мы должны быть «трудолюбивыми и рациональными». Этика дисциплины и совершенствования сама по себе есть требование естественного порядка, задуманного Богом. Установление некоего порядка человеческой волей уже предусмотрено Его замыслом.

Локк рассматривает «служение друг другу» с точки зрения выгодного обмена. «Экономическая» (то есть упорядоченная, мирная, продуктивная) деятельность становится образцом человеческого поведения и ключом к гармоничному сосуществованию. В отличие от теорий иерархической дополняемости сословий, у Локка мы встречаем порядок, основанный на согласии и оказании взаимных услуг, что по его мысли отвечает замыслу Божию.

Такая идеализация общества с самого начала была совершенно несовместима с реальным положением дел (и, следовательно, с социальным воображаемым) практически на всех уровнях общества. Иерархическая дополняемость сословий была принципом, по которому жизнь людей выстраивалась эффективным образом, и происходило это повсеместно: от королевства до города, от епархии до прихода, от клана и до семьи. В случае семьи все еще есть некое живое ощущение этого несоответствия, поскольку только в наше время старые представления об иерархической взаимодополняемости мужчины и женщины стали подвергаться серьезному сомнению. Но это поздний этап длительного пути, в котором современная идеализация, двигаясь «по трем осям координат», рассмотренным выше, соединилась с нашим социальным воображаемым и трансформировала его практически на всех уровнях – с революционными последствиями.

Сам революционный характер этих последствий гарантировал, что те, кто первыми приняли новую теорию, не увидели ее влияния во множестве областей, которое сегодня кажется нам очевидным. Мощная власть иерархически дополняющих друг друга форм жизни – в семье, в домашнем хозяйстве между хозяином и слугой, в поместье, между господином и крестьянином, в обществе, между образованной элитой и необразованными

массами – сделала очевидным факт, что новый принцип порядка должен применяться в очерченных рамках. Часто эти рамки не воспринимались как ограничения. Сейчас кажется вопиющей непоследовательностью то, что в восемнадцатом столетии виги защищали, например, олигархическую власть от имени народа, но для самих лидеров вигов это было просто проявлением здравого смысла.

На самом деле они опирались на более древнее понимание народа, восходящее к преמודернистскому представлению о порядке первого типа, где народ как таковой конституируется Законом, что существует с незапамятных времен. Этот Закон может даровать лидерство некоторым избранным, которые, что вполне естественно, выступают от имени всего народа. Даже революции (или те события, что мы считаем таковыми) в Европе раннего Нового времени совершались с учетом этого понимания, так, например, монархомахи во времена французских религиозных войн предоставили право бунта не неорганизованным массам, а «подчиненным магистратам». Подобной предпосылкой было вызвано и восстание против Карла I.

Этот долгий путь, возможно, подходит к концу только сегодня. Или, может быть, мы тоже стали жертвами ментальных ограничений, за что наши потомки будут обвинять нас в непоследовательности или лицемерии. В любом случае некоторые важные участки этого пути были пройдены совсем недавно. В данной связи я упомянул современные гендерные отношения, кроме того, мы должны помнить, что не так давно целые сегменты нашего якобы современного общества оставались вне социального воображаемого. Ойген Вебер показал, как много общин французских крестьян было преобразовано лишь в конце XIX в., чтобы стать частью «французской нации», которая включала в себя 40 млн граждан (см.: Weber 1979: ch. 28). Он ярко продемонстрировал, насколько их прежний образ жизни зависел от поведенческих моделей, которые были неравноправными, особенно это касалось взаимоотношений между полами, но не только между ними; такова была участь младших братьев и сестер, которые отказывались от своей доли наследства, чтобы сохранить семейное имущество целостным и рентабельным. В мире полной нужды и незащищенности, в мире, где людям постоянно угрожает голод, иерархические правила семьи и сообщества казались единственной гарантией выживания, тогда как существовавшие формы индивидуализма представлялись роскошью, и притом опасной роскошью.

Об этом легко забыть, ведь стоит нам прочно обосноваться в современном социальном воображаемом, как оно начинает казаться нам единственно возможным, единственным, что имеет смысл. Разве не все ли мы люди? Разве мы не объединяемся в общество для нашей взаимной выгоды? Как еще измерить социальную жизнь?

Погружение в категории модерна может очень легко создать весьма искаженное представление о процессе перехода к новому порядку, что может иметь как минимум два последствия. Во-первых, мы склонны интерпретировать распространение этого нового порядка и вытеснение традиционных способов иерархической дополняемости как рост индивидуализма за счет сообщества. Однако обратной стороной нового понимания

индивидуума неизбежно является и новое понимание социальности как общества взаимной выгоды, функциональные различия в котором в конечном счете случайны и члены которого фундаментально равны. Обычно этот момент исчезает из поля зрения. Индивидуум кажется первичным, потому что вытеснение более старых форм комплементарности мы воспринимаем как эрозию сообщества как такового. Представляется, что перед нами стоит постоянная проблема: как побудить или принудить индивидуума к некоему социальному порядку, заставить его подчиняться правилам и выполнять их.

Этот повторяющийся снова и снова опыт распада достаточно реален. Он не должен скрывать от нас того факта, что модерн – это и период зарождения новых принципов социальности. Распад, как мы можем видеть на примере Французской революции, происходит вследствие того, что люди оказываются вытесненными из старых форм социального бытия – в результате войны, революции или быстрых экономических изменений – прежде, чем они смогут встать на ноги в новых структурах, то есть соединить некоторые изменившиеся практики в новые принципы, сформировать новое жизнеспособное социальное воображаемое. Но это не означает, что современный индивидуализм по своей сути призван растворить общность. Не означает это и того, что затруднительное положение политического уклада модерна было верно определено Томасом Гоббсом: как спасти атомизированных индивидов от дилеммы заключенного<sup>1</sup>? Настоящую же проблему, что повторяется вновь, гораздо точнее определил Алексис де Токвиль, а в наши дни – Франсуа Фюре.

Второе искажение нам уже знакомо. Современный принцип кажется нам таким самоочевидным (разве мы не индивидуальны по природе своей и сущности?), что нас соблазняет идея «вычесть» фактор возникновения парадигмы модерна. Как будто нам просто нужно было освободиться от старых горизонтов, и тогда очевидной альтернативой оставалась концепция о взаимном служении порядку. Это не требовало от нас изобретательской проницательности или конструктивных усилий. Индивидуализм и взаимная выгода – очевидные идеи, которые остаются после того, как были отброшены старые религии и метафизика.

Но дело обстоит как раз наоборот. На протяжении большей части истории человечества режимы взаимной дополняемости сочетались с большей или меньшей степенью иерархичности. Существовали островки равенства, как у граждан античного полиса, однако, как только мы помещаем их в более широкий контекст, они оказываются погруженными в море иерархии. Не говоря уже о том, насколько эти общества чужды современному индивидуализму. Поразительно, что удалось совершить прорыв к современному индивидуализму не только на уровне теории, но и путем проникновения в социальное воображаемое и преобразования его. Теперь, когда это воображаемое связано с беспрецедентно могущественными в истории челове-

---

<sup>1</sup> Термин «дилемма заключенного» появился в XX в. Сам Томас Гоббс, по сути, задавался подобным вопросом. – *Пер.*

ства обществами, попытки сопротивляться ему кажутся невозможными и безумными, однако было бы анахронизмом полагать, что так было всегда.

Лучшее противоядие от совершения этой ошибки – снова вспомнить некоторые этапы долгого и часто противоречивого пути, на котором эта теория в конечном итоге овладела нашими умами. Я буду вспоминать о них по мере развертывания аргументации. На данный момент я хочу подытожить предыдущее обсуждение и обрисовать основные черты современного понимания морального порядка. Представлю этот промежуточный итог в трех пунктах, к которым затем добавлю четвертый.

1. Первоначальная идеализация порядка взаимной выгоды происходит в теории прав и легитимного правления. Она рассматривает общество как нечто созданное ради индивидуумов. Политическое общество понимается как инструмент применимый к чему-то «дополнительному».

Идея индивидуализма символизирует отказ от господствовавшего ранее представления об иерархии, в соответствии с которым человек может быть надлежащим моральным «агентом» только в том случае, если он включен в некую социальную целостность, в чьей природе заложена иерархическая взаимодополняемость. В своей первоначальной форме теория Гроция – Локка противостоит воззрениям (наиболее ярко их выразил Аристотель), согласно которым человек не может быть полноценен вне общества.

По мере развития идея порядка вновь находит отражение в философской антропологии, где люди определяются как социальные существа, неспособные к самостоятельному нравственному бытию. Примеры этого мы встречаем у Руссо, Гегеля и Маркса, много последователей этой идеи и в наши дни. Но я по-прежнему считаю взгляды этих философов «редакцией» идеи модерна, поскольку ключевым элементом их постулата «хорошо организованного общества» выступают отношения взаимного служения между равными людьми. Это служение является целью даже для тех, кто думает, что буржуазный индивидуум – фикция и что данная цель может быть достигнута только в коммунистическом обществе. Даже если связать идею модерна с этическими концепциями, противоположными взглядам теоретиков естественного права (более близкими к отвергнутому ими Аристотелю), она остается реальным фактором в нашем мире.

2. Будучи инструментом, политическое общество позволяет людям служить друг другу ради взаимной выгоды как в обеспечении безопасности, так и в содействии обмену и процветанию. Любые различия внутри общества должны оправдываться этим телосом; никакая иерархическая или иная форма не располагает к этому внутренне.

Значение этого инструмента, как мы рассмотрели выше, состоит в том, что «взаимное служение» сосредотачивается на нуждах обычной жизни, а не направлено на обеспечение высшей добродетели для отдельных лиц. Он нацелен на обеспечение таких условий существования, которые нужны людям, чтобы быть свободными агентами. Здесь также более современные редакции морального порядка пересматривают премодернистские представления о нем. У Руссо, например, сама свобода становится основой для нового определения добродетели, и порядок истинной взаимной вы-



годы у него неотделим от порядка, обеспечивающего такую добродетель, как самостоятельность. Но Руссо и его последователи по-прежнему уделяли основное внимание обеспечению свободы, равенства и потребностей в обычной жизни.

3. Политическая теория начинается с индивидуумов, которым должно служить политическое общество. Что еще более важно, это служение определяется с точки зрения защиты прав человека. Центральное место в этих правах занимает свобода. Важность свободы подтверждается требованием, чтобы политическое общество основывалось на согласии тех, кто им связан.

Если мы задумаемся над контекстом, в котором действовала эта теория, мы увидим, что основной акцент на свободу был переопределен. Идеалом является порядок взаимной выгоды, который нужно построить. Он служит ориентиром для тех, кто хочет установить прочный мир, а затем переустроить общество, приблизив его к нормам. Сторонники этой теории уже видят себя «агентами», которые посредством отстраненных дисциплинированных действий могут реформировать собственную жизнь, а также общественный порядок. Они – сдержанные и дисциплинированные самости. Свобода воли занимает центральное место в их понимании себя. Акцент на правах и примат свободы вытекают не только из принципа, что общество должно существовать ради своих членов; они также отражают ощущение свободы собственной воли и в целом той ситуации, установления которой в мире требует повседневная деятельность, а именно свободы.

Таким образом, действующая в обществе этика должна быть определена как в терминологии свободы воли, так и в терминологии требований идеального порядка. Оба определения здесь существенны. Вот почему согласие играет такую важную роль в политических теориях, вытекающих из данной этики.

Подводя итог, можно сказать, что 1) между индивидуумами (или по крайней мере между «моральными агентами», независимыми от более крупных иерархических порядков) существует порядок взаимной выгоды; 2) преимущества от взаимной выгоды включают саму жизнь и средства к существованию, хотя обеспечение их относится к практике добродетели; и 3) порядок предназначен для обеспечения свободы и находит выражение в терминологии прав человека.

К этим трем пунктам теперь мы можем добавить четвертый:

4. Эти права, эта свобода, эта взаимная выгода должны быть обеспечены всем участникам социума в равной степени. Что конкретно подразумевается под равенством, будет варьироваться, но то, что равенство должно быть в той или иной форме подтверждено, следует из отказа от иерархического порядка. Таковы ключевые черты, константы, которые повторяются в различных вариациях современной идеи морального порядка.

Перевод и примечания Я.Ю. Моисеенко

Научная редакция перевода М.С. Ильченко, В.С. Мартынова

Translated from English by Ya.Yu. Moiseenko

Academic editing by M.S. Ilchenko, V.S. Martianov

*References*

- Dupre L. 1993. *Passage to Modernity : An Essay in the Hermeneutics of Nature and Culture*, New Haven, Yale Univ. Press, x, 300 p.
- Locke J. 1889. *Some Thoughts Concerning Education*, Cambridge, England, Cambridge Univ. Press, lxiv, 240 p.
- Locke J. 1967. *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett, 2<sup>nd</sup> ed., Cambridge, England, Cambridge Univ. Press, 527 p.
- Роскокс J.G.A. 1987. *The Ancient Constitution and the Feudal Law*, 2<sup>nd</sup> ed., Cambridge, England, Cambridge Univ. Press, 402 p.
- Sabine G.H. 1961. *A History of Political Theory*, 3<sup>rd</sup> ed., New York, Holt, Rinehart and Winston, xii, 948 p.
- Taylor Ch. 1992. *Sources of the Self*, Cambridge, Harvard Univ. Press, 624 p.
- Thompson E.P. 1971. The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, *Past and Present*, no. 50, pp. 76-136.
- Weber E. 1979. *Peasants into Frenchmen : the Modernization of Rural France, 1870–1914*, London, Chatto and Windus, 640 p.

*Издания (переводы) на русском языке*

- Лебедев А.В. (сост.) 1989. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / изд. подгот. А.В. Лебедев. Москва : Наука. 576 с.
- Локк Д. 1988. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения : в 3 т. Москва : Мысль. Т. 3. С. 135-406.
- Соколов В.В. и др. (ред.) 1969. Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1. Философия древности и средневековья. Ч. 1 / ред. коллегия: В.В. Соколов, В.Ф. Асмус, В.В. Богатов и др. Москва : Мысль, 1969. 575 с.

*ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ*

**Чарльз Тейлор**  
Доктор философии, почетный профессор  
Университета Макгилла, г. Монреаль, Канада.

*INFORMATION ABOUT THE AUTHOR*

**Charles Taylor**  
PhD in the philosophy, professor emeritus at  
McGill University, Montreal, Canada.



Мартьянов В.С. Генезис и ценностно-институциональная эволюция Модерна. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_42 // Антиномии. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 42–71.

УДК 30:321.01

DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_42

## Генезис и ценностно-институциональная эволюция Модерна

**Виктор Сергеевич Мартьянов**

Институт философии и права Уральского отделения РАН

г. Екатеринбург, Россия

E-mail: martianov@instlaw.uran.ru

*Поступила в редакцию 09.08.2022*

В статье рассматриваются ключевые факторы и направления ценностно-институциональной эволюции Модерна. Утверждается, что движение человечества к глобальному миру парадоксальным образом обернулось не отрицанием, а последовательной радикализацией ценностных политических оснований Модерна. Аргументируется тезис о ценностном единстве и институциональном разнообразии глобального Модерна в противовес концепции множественной современности как риторически завуалированному цивилизационному подходу. Утверждается, что постоянная самонастройка центральной ценностной системы Модерна осуществляется в контексте эффекта неодновременности, который дает основания для дискуссий о непреодолимости домодерных культурных барьеров и традиций разных цивилизаций. Обосновывается вывод, что будущая успешность Модерна обусловлена возможностью достройки уже существующей мироэкономики до мирополитики, так как экономическая интеграция мира в значительной степени опередила компенсирующие возможности глобальной политической регуляции, что способствует усилению конфликтов и разнообразных неравенств. Все более интенсивное взаимодействие и взаимозависимость человечества на глобальном уровне предполагают создание этических механизмов мирополитики как заботы об интересах человечества в целом. Решение этой задачи выходит за рамки политических форм и оснований принятия решений, связанных с отдельными нациями-государствами. Представляется, что в дискуссии по поводу этической регуляции глобального, второго или позднего Модерна априори сильней позиции субъектов, которые способны предложить человечеству моральную игру на повышение: прозрачные, эгалитарные, универсальные варианты решений всеобщих проблем.

**Ключевые слова:** Модерн, радикализация Модерна, мироэкономика, мирополитика, капитализм, либеральный консенсус, прогресс, постмодерн, национализм, космополитизм, коллективное действие



© Мартьянов В.С., 2022

# Genesis and the Value-Institutional Evolution of Modernity

**Victor S. Martianov**

Institute of Philosophy and Law Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,  
Yekaterinburg, Russia

E-mail: martianov@instlaw.uran.ru

*Received 09.08.2022*

*Abstract.* The article discusses key factors and directions of the value-institutional evolution of Modernity. It is argued that the progress of humankind towards global peace paradoxically turned into if not a denial, but a consistent radicalization of value-based political foundations of Modernity. The idea of value unity and institutional diversity of global Modernity is argued against the concept of multiple modernity as a rhetorically shadowed civilizational approach. It is argued that the constant self-adjustment of the core value system of Modernity is carried out in the context of non-simultaneity, which gives ground for discussions about the insurmountability of pre-modern cultural barriers and traditions of different civilizations. The conclusion is made that the success of Modernity is caused by the possibility of completing existing world economy to the level of world politics. In fact, the world economic integration has largely surpassed the compensatory possibilities of global political regulation, therefore contributing the intensification of various conflicts and inequalities. Intensive interaction and interdependence of humanity at the global level presupposes formation of ethical mechanisms of world politics based on the concern for the interests of humanity as a whole. Such possibility goes beyond political institutions and decision-making means associated with leading nation-states. It seems that in the discussion about the ethical regulation of the global (second or late) Modernity, the position of subjects that are able to offer humanity “game on increase”, which presupposes transparent, egalitarian, universal solutions to universal problems, is a priori stronger.

*Keywords:* Modernity; radicalization of Modernity; world economy; world politics; capitalism; liberal consensus; progress; postmodernity; nationalism; cosmopolitanism; collective action

*For citation:* Martianov V.S. Genesis and the Value-Institutional Evolution of Modernity, *Antinomies*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 42–71 (in Russ.). DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_42.

Фундаментальное значение Модерна-Современности в качестве центрального объяснительного и легитимирующего понятия социальных наук трудно переоценить. По образному выражению Э. Хобсбаума, к середине XX в. 80% населения Земли рассталось со Средневековьем, шагнув в модерное общество, связанное с фоновыми процессами урбанизации, индустриализации, индивидуализации и демократизации (см.: Хобсбаум 2004: 311). Это общество, ориентированное на научное овладение жизненным миром и свободу управления собственной судьбой. Системные признаки Модерна стали проявляться вместе со становлением в *долгом* XVI в. капиталистической миросистемы, однако сами политические понятия,

составившие политический нарратив Модерна, окончательно сформировались, получили признание (автономию) и заговорили от имени политических субъектов в полную силу лишь в период Великой французской революции.

Интерпретация Модерна (Modernity) является наиболее идеологизированной проблемой общественных наук, решение которой задает все производные ценностные, онтологические и воображаемые иерархии. По многим показателям дифференцирован Модерн XVIII и XIX вв., Модерн начала и конца XX в. Интеллектуальная монополия на Модерн является мечтой любых политических и философских учений, государственных аппаратов и социальных сил, обосновывающих легитимность тех или иных актуальных социально-политических, культурных, экономических порядков. Однако любое всеобщее определение *длящегося* или *незавершенного* Модерна (Хабермас 2005), внутри которого мы находимся, невозможно без предъявления в координатах социально-политического, экономического и исторического пространства той позиции, в контексте которой мыслит наблюдатель. При этом рефлексия своей социальной ангажированности и партикулярности закономерно оборачивается фальсификацией любых универсальных концепций и систем легитимности, вызывающих к Модерну.

Модерн представляется нам глобально доминирующей, одновременной в своем разворачивании во времени и пространстве, далекой от исчерпания исторической ситуацией. Поскольку Модерн является незавершенным, мы не можем подвести окончательные исторические итоги. Парадокс самоописания Модерна состоит в том, что модерное общество может описать единым взаимосвязанным нарративом любое предшествующее общество (родоплеменное, Античность, Средневековье и т.д.), но только не само себя, постоянно умножая и дифференцируя при этом разнообразные измерения своего бытия и предметных областей (природа/общество/человек), которые невозможно вновь объединить в утраченное единство описательного нарратива (см.: Латур 2006: 71-72). Вследствие этого Б. Латур даже ставит под сомнение само существование Модерна, который по его мысли зиждется лишь на особых способах самоописания (критика и гибридизация), не позволяющих провести прямые сравнения и аналогии с предшествующими общественными состояниями, относительно которых Модерн считается автономным, прогрессивным, более сложным и т.д. Он полагает, что характерной чертой длящейся современности выступает именно *гибридность*, а попытки выразить ее через набор неубедительных бинарных оппозиций традиция/современность, Запад/Незапад являются схоластическим эссенциализмом. В связи с этим Дж. Александер замечает, что бинарный код Модерна «выполняет мифологическую функцию разделения знакомого мира на сакральный и профанный и таким образом обеспечивает четкую и убедительную картину того, как современным людям следует поступать, чтобы маневрировать в пространстве между первым и вторым. В этом смысле дискурс современности поразительно напоминает метафизический и религиозный дискурс спасения в различных его видах» (Александер 2013: 524).

Тем не менее мы можем многое узнать о Модерне, если осмыслим те внутренние изменения, которые претерпел его ценностно-институциональный политический порядок в течение последних столетий: «...если верно, что современность – это историческая ситуация, то с точки зрения методологии познания должен вытекать один вывод: теорию современности создать невозможно. Теории информационного, индустриального и т.п. обществ редуцируют современность к неким институциональным сущностям... Если современность – это ситуация, а не цельная система и объект, то мы можем предложить только нарратив о современности (в смысле Ханны Арендт) в виде ответов на вопросы: как возникла современность? через какие фазы она проходила? какими коллизиями пронизана? какие основные действующие лица современности на ее различных этапах? Мы обладаем только нарративным знанием, а не системно-теоретическим знанием» (Капустин и др. 2010: 34).

Относительно генезиса, трансформации, возможных альтернатив и угроз обществу Модерна можно сформулировать следующую взаимосвязанную последовательность тезисов.

## I

Феодальное общество не было ни единым, ни взаимосвязанным в привычном для современности понимании, оно «считалось состоящим из разных порядков. Эти порядки нуждались один в другом и дополняли друг друга, но это не означало, что их отношения были по-настоящему взаимными, потому что они не существовали на одном уровне. Скорее, они формировали иерархию, в которой одни порядки имели большую ценность, чем другие. Примером этого может служить часто воспроизводимая в обществе схема трех сословий, (столь идеализированная в Средневековье): *oratores, bellatores, laboratores* – тех, кто молится, тех, кто сражается, и тех, кто работает. Было ясно, что каждое сословие нуждалось в другом, но нет сомнения, что перед нами нисходящая шкала социальной значимости; одни социальные функции были по своей сути выше других» (Тейлор 2022: 33).

В домодерных обществах легитимация социального порядка осуществлялась посредством апелляции к его естественному/природному/божественному характеру с помощью органицистских метафор (или несколько позднее – метафор божественного порядка/механизма), которые предполагали неизменную и единственно возможную иерархию сословий, их функций и следующее из них неравенство. В отсутствие общей для всех сословий публичной сферы мораль отдельного человека была соразмерна морали и добродетелям его сословия. Соответственно любые попытки изменения морали, права и оснований социальной стратификации автоматически наталкивались на интерпретацию в качестве еретических вызовов божественному порядку; как бунта черни и недостойных, претендующих на законное место аристократии; как вызова естественному праву и самой природе вещей.

Исторически Модерн, вытеснивший Ancien Régime, впервые явил сконструированность социального порядка, обосновал его независимость от неизменной и предустановленной божественной гармонии. В современном обществе происходит признание и *нормализация* вариативности социальных норм, групп и их возможных функций вследствие *инструментализации* социально-политического порядка в числе прочего потому, что «современный порядок не придает онтологического статуса иерархии или какой-либо конкретной структуре дифференциации» (Тейлор 2022: 34).

Традиционное общество принципиально отличалось от современного *скоростью* социальных изменений. До Модерна скорость изменений настолько мала, что на протяжении одного поколения или жизни отдельного человека изменения практически незаметны, что создает всеобщую иллюзию, будто с сотворения мира изменений не существует вовсе. Поэтому темп изменений в современном обществе с позиций домодерных социальных групп представляется едва ли не кошунством. Быстрота социальных перемен впервые позволяет увидеть, что любое общество сконструировано в коллективном воображении, во времени и пространстве. В результате критики Модерна довольно скоро обнаруживают его онтологическую и ценностную *изменяемость* и *сконструированность* различными социальными силами, интерпретируемую в рамках сакральной традиции как неподлинность, симулякрность, деконструкция, отрицание Бога, искажение священных основ. Хотя отличие традиции лишь в том, что исходный чертеж ее конструкции теряется в долгом историческом времени. Модерн отменяет земной порядок, оправдывающийся тем, что он является копией божественного, а следовательно, апологией всего социального зла служит вывод о том, что *все действительно разумно*. Таким образом, граждане и социальные группы легитимируют свое право на изменение политического порядка с непредсказуемыми результатами. Политический порядок Модерна вновь воскрешает ситуацию построения Вавилонской башни, где финальная цель достижения идеального (божественного) порядка не утрачена, но она постоянно разбивается о конфликты альтернативных перспектив, производимых постоянно трансформирующимися социальными группами как аналогами *библейских языков*. Отсюда возникает непреодолимая теоретическая неуверенность и незавершенность Модерна как подвижной конструкции присущих ему утопий и идеологий, при невозможности их метанарративной интеграции, надежды на которую Ж.-Ф. Лиотар связывал с состоянием постмодерна (см.: Lyotard 1979).

Естественным способом бытия и одновременно легитимации современного общества является перманентная модернизация как совокупность постоянных улучшающих изменений, связанных с идеей прогресса. Стремление к непрерывным инновациям само по себе становится ключевой и едва ли не единственной самобытной *традицией* Модерна: «“Модернизация” есть способ существования в “современности”, и она не может завершиться, во всяком случае пока не завершилась “современность”» (Капустин 1998: 4). При этом любые инновации, чтобы соответствовать нормативным принципам *максимизации коллективной полезности*, должны быть общественно

контролируемыми, легитимными, служить предметом широкого, постоянно пересматриваемого и подтверждаемого консенсуса ключевых социальных групп. Поэтому модернизация является непрерывным процессом, осуществляемым в принципиально незавершаемых условиях свободы, где не бывает социальных сил, побеждающих раз и навсегда с *нулевой суммой*. И этот процесс не тождествен движению к идеальному конечному состоянию, которое часто представляется уже воплощенным в той или иной политической реальности, например в виде субъективного перечня либеральных демократий.

Временной код Модерна, связанный с рефлексией социальных изменений, пережил стремительную трансформацию. Первоначальный выход Модерна из циклов природного времени к времени линейному был связан с идеей историзма, согласно которой настоящее является продолжением и улучшением прошлого, прежде всего социально-политических и культурных образцов Античности. Затем фокус времени был перемещен в будущее, ставшее местом конструирования социальных утопий, аналогов земного рая, чье построение фактически означало исчерпание всех ипостасей прогресса (материального, технологического, морального и социального) и достижение идеального общества. Наконец, в позднем Модерне начинает превалировать *тирания настоящего времени* (П. Вирильо), содержательно коррелирующая с неолиберальной риторикой, которая сужает горизонт планирования будущего, подчиняя все перспективы, ресурсы и коллективные интересы бенефициарам статус-кво посредством апологии моделей рационального выбора и саморегулируемого рынка (см.: Каминер 2022). Эта идеология *презентизма* ведет к накоплению всевозможных экономических, политических и классовых рисков, радикализации всех измерений неравенства, поскольку общественное благо и приоритеты долгосрочного развития социума не могут быть надежно сформированы в ограниченной равновесной рыночной модели, лишенной понимания своего внеэкономического контекста, истории и обязательств перед будущими поколениями. В нарастающем интеллектуальном тупике *презентизма* и *экономикоцентризма* актуализируется призыв возврата к забытым и репрессированным элементам утопии, к социальному экспериментированию и открытости альтернативам, поскольку «эстетическое мышление и грезы о лучшем будущем являются важными элементами первоначального проекта модерна» (Мунк, Гилен 2022: 9).

Модерн заявил об универсальности человеческого разума, умопостигаемости общественных и моральных законов, ведущей к веберовскому расколдовыванию мира. В этической области это *проект независимого рационального обоснования морали* (MacIntyre 1981), в политической – *всеобщее законодательство разума* (Кант). В основе Модерна лежит стремление к выработке универсального политического законодательства для всего человечества. Проблема в том, что последующая классовая дифференциация общества Модерна предъявила набор диаметрально противоположных версий морали и разума, являющихся результатом свободного коллективного самоопределения людей, каждая из которых, стремясь



к всеобщему законодательству, вместе с тем служит выражением партикулярных политических интересов. Объективная (всеобщая) нормативная рациональность (общность целей, ценностей, идеалов) монологичного политического разума становится невозможна. Однако без интегральной инструментальной рациональности, выраженной в праве и законах (правилах игры) – конфликта и взаимодействия социальных интересов, невозможным становится само общество как институционально и процессуально выраженный компромисс интересов. Именно поэтому наибольшее внимание стало уделяться как новым дисциплинарным практикам, так и диалогу, коммуникации социальных сил, способам достижения ими устойчивых договоренностей (конвенций), выраженным в различных демократических механизмах и институтах, в число которых входят выборы, референдумы, непосредственное участие граждан в принятии властных решений, демонстрации, митинги, суды присяжных, сходы граждан, общественные слушания и т.п.

В ситуации Модерна политическое сообщество впервые выработало систему принципиальной незавершаемости методов разрешения внутренних конфликтов, которая позволяет периодически пересматривать условия общественного договора: доминирующие социальные силы получают легитимность, ограниченную временным периодом. Это дает возможность отказаться от экстремальных политических взаимодействий, где победитель получает все, в пользу системы принятия политических решений, учитывающей кооперативные, диалогичные, солидарные стратегии различных социальных сил, что позволяет принимать в расчет интересы разных сторон и изменять общество ненасильственным путем. Модерн первоначально структурировался и консолидировался как классическая либеральная утопия, призванная легитимировать жизненные интересы и расширить перспективы самореализации третьего сословия, составлявшего большинство населения. В ходе своего воплощения эта классическая утопия была в целом реализована, создав принципиально новую систему ценностно-идеологических координат – базовый либеральный консенсус, превратившийся из утопии в ценностно-институциональное ядро повседневности глобального человечества.

Модерн часто критикуется и левыми, и правыми как *железная клетка конформизма* (Г. Маркузе), либо как *тирания эгоистического разума*, ведущая к дегуманизации и обесцениванию человеческого существования. Реальная ситуация представляется более сложной. Скорее следует говорить о том, что современные теории и коллективные практики выдвинули в центр публичного поля и резко повысили саму *чувствительность* общества к политическим проблемам власти, иерархии, распределения ресурсов, справедливости, свободы, солидарности в контексте неустрашимых противоречий групповых интересов. Это вечные политические проблемы, попавшие в фокус массового внимания лишь в современной теоретической оптике, объемно проявившей их *исторический* характер. А значит, данные противоречия могут быть вариативным образом разрешены активными субъектами конституирования политического порядка.

## II

Социальные науки в привычном нам дисциплинарном виде возникли как системная ценностно-институциональная рефлексия становящегося современного общества. В конце XIX – начале XX в. большинство классиков европейской общественной мысли на онтологическом уровне рефлексировало и обобщало признаки современного общества бинарными концепциями всеобщего перехода от аграрного феодализма к промышленному капитализму (К. Маркс), от традиционного общества к современному (М. Вебер), от органической солидарности к механической (Э. Дюркгейм), от общины к обществу (Ф. Теннис), от военного общества к промышленному (Г. Спенсер) и т.д. Таким образом, практически все классические социально-политические макротории, осмысляющие переход к Модерну и само состояние современности, построены на выделении эволюционных стадий развития, своего рода бинарных временных кодов, один из которых имеет привилегированное положение будущего, а другой олицетворяет прошлое. И этот переход действительно состоялся в мировом масштабе, но проект Модерна исторически на этом не завершился, запустив процессы внутренней дифференциации и усложнения.

Институционально Модерн выражается в усложнении подсистем общества, каждая из которых – экономика, политика, наука, искусство и т.д. – получает регулятивную автономию, собственные ценности и язык описания. При этом Модерн полностью не вытесняет предшествующие общественные отношения. Ценностная система Модерна функционирует параллельно с предшествующими нормами социальной регуляции, постепенно замещая их. В итоге наряду с реципрокным и дистрибутивным обменом, патримониальным политическим порядком и патрон-клиентскими отношениями элит разных уровней формируются гражданские нацигосударства, саморегулируемый рынок, рациональная бюрократия, массовые партии, профсоюзы, гражданские организации, представительные органы власти и т.д. Во всех без исключения современных обществах можно констатировать одновременность сосуществования и наложение в разных сферах жизни реципрокных (дарообменных, семейных, клановых), дистрибутивных и рыночных отношений, а также постепенное изменение их пропорций в долгом историческом времени в пользу последних. Новые социальные нормы и регуляторы никогда не вытесняют старые одномоментно и полностью. Часто подобное вытеснение принимает гибридную форму, когда ценности Модерна на институциональном уровне частично смешиваются с отживающей культурной традицией. Ослабление роли старых ценностей и сословий, понятий и практик в исторической перспективе создает переходные институциональные эффекты, которые часто и неубедительно объясняются культурно-цивилизационной спецификой (уникальностью) того или иного общества.

В настоящее время в центре дискуссий находится проблема глобальной трансформации описанного классиками национального, классово-

индустриального и преимущественно западного Модерна в поздний, глобальный, второй или рефлексивный Модерн. В мире происходит закономерная трансформация модели национального Модерна, которая из социальной утопии превратилась в привычную повседневность и в XXI в. все менее релевантна для полного описания социально-политических и культурных режимов значительной части человечества. Трансформации базовой модели национального Модерна способствовали:

- предельное насыщение глобальных рынков, неуклонное падение нормы прибыли, и усиление факторов нерыночной конкуренции, ведущих к кризису идеализированной модели конкурентно-рыночной саморегуляции, некритично масштабируемой на любые сферы жизни общества;
- технологическая революция, связанная с автоматизацией и роботизацией; ускорение динамики изменений позднемодерных обществ *без экономического роста и массового труда*;
- трансформация социальной структуры общества и принципов его стратификации, все менее связанных с рынком; рост доли *лишних людей с точки зрения и рынка, и государства*;
- увеличение внутренней *гетерархии* и *гетеротопии* территориальных наций-государств в силу разнообразных внутренних и внешних вызовов;
- умножение и усиление негосударственных политических субъектов в глобальном мире (ТНК, сети городов и др.).

Однако Модерн, невзирая на убедительную критику, остается базовой моделью для релевантного описания и легитимации глобальной культурной и экономико-политической реальности, которая пока не вытеснена на периферию истории альтернативными политическими проектами. Поэтому ведущие исследователи, несмотря на постоянно наблюдаемые институциональные изменения и ценностные вызовы, подчеркивают, что мы продолжаем иметь дело именно с Модерном, будь то *сингулярная современность* Ф. Джеймисона, *текущая современность* З. Баумана, *гипермодерн* А. Турена, *космополитический, второй или поздний Модерн* У. Бека или концепция *радикального Модерна* Э. Гидденса. В глобальном мире нарастает интенсивность интеллектуальных вызовов Модерну со стороны *архаизирующих* описаний и метафор (неофеодализм, неопатримониализм, традиционные ценности, корпоративизм, новая сословность и т.д.). Однако главное – не институциональный, а более универсальный этический вызов, который в них не был предложен. Модерн в ходе исторических видоизменений так и не был вытеснен альтернативным политическим проектом соразмерного уровня универсальности, легитимности и релевантности, будь то постмодерн, коммунизм, альтерглобализм, мировая империя (М. Хардт и А. Негри), религиозный фундаментализм, цивилизационные теории, теории автаркии и изоляционизма, разнообразные утопические и традиционалистские проекты (см.: Фишман 2008).

Стоит отметить, что наиболее эвристичный критический вызов Модерну был брошен постмодернизмом. Убедительные образцы ценностной

и методологической критики Модерна можно найти в работах Ж. Бодрийяра, Ж. Деррида, Ж. Делеза, Ж.-Ф. Лиотара и др. Например, Ф. Джеймисон утверждает, что интеллектуальная карта Модерна в социальной теории во многом выработала свой эвристический потенциал, фактически став синонимом капитализма. Но и постмодерн, в свою очередь, не стал глобальной утопией, бросающей реальный вызов Модерну, выродившись в инструментальную культурную логику позднего капитализма (см.: Jameson 1991). Со временем постмодернистские теории, претендовавшие на глобальную альтернативу ценностному ядру Модерна, оказались встроены в него на условиях критической рефлексии. Постмодернизм органически вырос из внутренних противоречий позднего Модерна, инициированных успешной практической реализацией современной утопии. Поскольку всякая социальная утопия, разворачиваясь институционально и будучи материализованной, порождает новую социальную реальность, возникают классы, технологии и конфликты, которые не могли быть предсказаны в самом ее начале.

Постмодернизм в теоретическом отношении выявил *проклятую сторону* Модерна (Ж. Бодрийяр). Постмодернистские теории оказались эвристически сильными в изучении различных разрывов, границ, периферий, культурных противоречий политического проекта Модерна, связанных с критикой и вызовами, продуцируемыми разного рода периферией (географической, экономической, культурной), доминирующим ценностям и центрам. Однако постмодернизм оказался не в состоянии предложить альтернативный глобальный политический проект, так как не обладает способностью генерировать универсальное и тотальное в области ценностей и целей. Аиерархические ценности и *сетевые принципы* политики, связанные с критикой любого *подавляющего периферии центризма*, оказались нереализуемы на практике. Одна из сетей или коммуникаций все равно становится упорядочивающей и доминирующей, в противном случае мы можем иметь дело лишь с радикальным анархизмом, отрицающим государство, политический порядок и общество как таковое. Таким образом, если Модерн ведет к индивидуальному и коллективному освобождению, сознательному и целерациональному преобразованию мира, то постмодерн оборачивается вынужденными критическими и реактивными стратегиями, связанными с адаптивным приспособлением индивидов и их групп к общественным, технологическим и ценностным изменениям, над которыми они, по сути, не властны.

Формирование консолидированной модели позднего Модерна осуществляется на фоне эффекта *исторической неодновременности*, когда одни регионы мира вступают в глобальную и постиндустриальную стадии Модерна, а другие только переживают процесс форсированной модернизации и институциональной адаптации к Модерну в виде образования наций-государств. Классические программы социального знания первоначально Модерна были ориентированы на нацию-государство как легитимную политическую форму своего практического воплощения. Именно поэтому К. Маркс еще мог опираться на *английскую* политэкономия, *немецкую* философию и *французских* утопистов. В условиях глобального Модерна любые

национальные школы и теоретические модели социального знания утрачивают самодостаточность; отдельные нации превращаются лишь в *частное* или *особенное* в сравнении с фоновыми всеобщими закономерностями, которые релевантны только для человечества в целом.

Часть популярных теорий, особенно в области экономики, продолжает использовать онтологические модификации дискурса транзита в описании становления и последующих трансформаций Модерна. Например, Д. Норт, Д. Уоллис и Б. Вайнгаст описывают модернизацию как переход от *естественного государства* к обществу *открытого доступа*, осуществляемый через трансформацию взаимодействия элит. Последние перестают быть закрытыми и начинают руководствоваться обезличенными правилами (см.: North, Wallis, Weingast 2009). Аналогичен ход мысли Д. Аджемоглу и Д. Робинсона, которые описывают историю Модерна как институциональную трансформацию обществ с доминированием экстрактивных (извлекающих) институтов в общества с преобладанием инклюзивных (включающих) институтов (см.: Acemoglu, Robinson 2012). На этом фоне более значимыми и убедительными представляются фундированные на многолетних глобальных социологических опросах оптимистические идеи Р. Инглхарта и К. Вельцеля о трансформации ценностной системы современных обществ. Они обосновывают всеобщий переход от *материальных ценностей выживания*, гарантированных большинству граждан во время развертывания раннеиндустриального Модерна, к *постматериальным ценностям самореализации*, свойственным постиндустриальным обществам (см.: Inglehart, Welzel 2005).

В радикально идеализированном виде концепция всеобщего транзита была применена Ф. Фукуямой, пытавшимся обосновать, что все современные общества закономерно движутся в направлении господства рынка и либеральной демократии (см.: Fukuyama 1992). Сторонники движения к *плоскому миру* и *концу истории* приводят доводы в пользу этического и политического объединения человечества, при этом глобализация интерпретируется как последовательное стирание домодерных культурных различий (Д. Бхагвати, Т. Фридман, И. Валлерстайн, А. Мэддисон, А. Турен и др.). Соответственно, длящийся Модерн может быть адекватно объяснен только посредством трансформации собственных ценностных координат. И если мы не можем объяснить наблюдаемое разнообразие в логике развития закономерностей самого Модерна, то любые альтернативные объяснения будут, как правило, еще более локальными, иррациональными и неубедительными, почерпнутыми в области домодерной истории.

Наконец, существуют достаточно продуктивные, хотя и поспешные попытки З. Баумана и У. Бека смоделировать позднемодерное общество на основе новейших, но неустойчивых этических, онтологических, технологических тенденций, отдельных признаков и изменений с учетом перспективы их будущего масштабирования (см.: Bauman 2000; Beck 1992). В этом же ряду стоят концепции, предсказывающие необратимый поворот современного общества к новым механизмам самоорганизации. Таковы, например, концепции постиндустриального и постфордистского общества (см.: Ильчен-

ко, Мартьянов 2015), сетевого общества (М. Кастельс, А. Бард и др.), информационного общества (Д. Белл, Э. Тоффлер, Ф. Уэбстер, В. Иноземцев и др.), имевшие значительное влияние на общественную мысль в конце XX в. Эти теории были слишком поспешно фундированы некоторыми частными тенденциями общественного развития и обернулись утопиями, завышенными социальными ожиданиями. Теории *информационного общества, общества знания, тотального роста влияния креативного класса, факторов роботизации и искусственного интеллекта* оказались наивно оптимистичными, являя скорее желаемый образ будущего, нежели реальное состояние даже самых развитых обществ.

### III

В наиболее общем виде ценностное ядро Модерна представляет собой исторически подвижную конструкцию из взаимосвязанных нарративов, организующих институциональное пространство посттрадиционного общества. Прежде всего, это совокупность современных идеологий/утопий и конфликт их ценностных обоснований, отражающий динамику столкновения интересов социальных сил, укорененных в экономических макроклассах. Данная исследовательская традиция опирается преимущественно на работы К. Маркса, К. Мангейма, А. Грамши, Г. Маркузе, Ф. Джеймисона и др., в которых появление и трансформация Модерна обусловлены онтологией капитализма и порождаемой им классовой структурой.

Базовыми современными основаниями являются *капитализм, либерализм и национализм*. Капитализм генерирует постоянный прирост ресурсов и задает доминирующую стратификацию общества на экономические классы на основании их роли в рыночной экономике. Стратегия морально-политической компенсации негативных экстерналий и общественных издержек капитализма осуществляется в виде постоянно пересматриваемого *либерального консенсуса* (И. Валлерстайн), представляющего собой фундаментальный сплав разных версий консерватизма, социализма и лево-правого радикализма внутри институционально реализованной либеральной утопии.

Наконец, национальное государство выступает как доминирующая политическая форма, включающая в себя территориальный суверенитет, властный аппарат и гражданство. Нация-государство позволяет создать приемлемый баланс рынка и фоновых, внеэкономических факторов обеспечения его существования, которые сам капитализм и его теории предпочитают выносить за концептуальные скобки. Таково сочетание капиталистического производства, эксплуатации, конкуренции и накопления капитала с институциональным закреплением государственных механизмов снижения неравенств и широкого перечня неотчуждаемых гарантий, прав и свобод граждан. Нарастающий кризис модели позднего Модерна связан с одновременной легитимацией множественных процессов индивидуализации и глобализации, которые фрагментировали сложившиеся институты и практики солидарности наций, регулируемые преимущественно государством: «Изменения, какими

бы оправданными они ни были с нормативной точки зрения, подрывали основы социально-политического устройства. Они подорвали демократию, лишив конкретности коллективность, которая самостоятельно определяет свои правила (уже не нация, но еще не Европа и не земной шар), и ослабив связи между членами политического сообщества» (Wagner 2017: 131, здесь и далее перевод наш. – В. М.). В результате новые свободы и привилегированные исключения для одних превращаются в несвободы, ограничения и потери для других. Глобальные рынки и транснациональные корпорации выходят из-под дисциплинарной и солидарной регуляции национальных государств, оптимизируют налоги в офшорах, переносят производства в страны с низкими расценками на рабочую силу и ресурсы, способствуя глобальной *уберизации*. Подобный *рыночный номадизм*, вырвавшийся из-под контроля национального государства, оборачивается потерей налогов и ростом безработицы в странах исхода и параллельной сверхэксплуатацией в странах размещения, что в обоих случаях противоречит интересам большинства населения. Проигрывают и те и другие политические сообщества, в прибыли остаются лишь акционеры ТНК. В формировании современных наций значительную роль сыграло обеспечение интересов национальной буржуазии, однако транснациональная олигархия в свою очередь заинтересована в преодолении невыгодных ограничений и обременений, накладываемых национальными юрисдикциями.

За координацию и примирение конфликтных коллективных интересов в современном обществе отвечает концепт *демократии*, наиболее последовательно проработанный в хабермасовской идее коммуникативного консенсуса. Осмысление и легитимация постоянных изменений современного общества как *социальной нормы* представлены концептами *прогресса* и *революции*. Имманентная Модерну теория прогресса (модернизации) институционально представляет собой дифференциацию новых автономных (самореферентных) подсистем все более сложно устроенного общества, делегирование им функций социального регулирования и полномочий по производству норм. Эти нарративы образуют ценностное и функциональное единство Модерна, основу его самоописания, воспроизводства и легитимации социального порядка.

Каждый из указанных нарративов в условиях исторической эволюции Модерна претерпевает существенные изменения.

П. Вагнер отмечает, что идея прогресса во многом исчерпала свой утопический (объясняющий и легитимирующий) потенциал преобразования общества: «То, что нас ждет, это, судя по всему, войны и насилия, бедность и неравенство, продолжение эксплуатации и репрессий, которые в лучшем случае будут прерываться ограниченными во времени и пространстве периодами относительного мира, благополучия, равенства и свободы. Оптимизм тех, кто полагал, что прогресс уже достигнут, уступил место пессимизму тех, кто считал, что устойчивый прогресс недостижим» (Вагнер 2022: 74). Это подтверждает кризис прогресса, понимаемого как всеобщее освобождение (как индивидуальное, так и коллективное) от исторических систем эксплуатации, принуждения и подавления. Однако идея прогресса в

условиях позднего Модерна в сравнении со своей первоначальной версией может быть переосмыслена в другой ценностной перспективе: «...в то время как ранний нарратив модерна о прогрессе осмеливался двигать нас всех к утопии, сегодня каждый пытается самостоятельно избежать спроецированной (экологической, экономической, социальной, ментальной или вирусной) антиутопии. Если проект модерна изначально был нацелен на лучшее будущее, то его сегодняшняя траектория, похоже, направлена на то, чтобы избежать худшего» (Мунк, Гилен 2022: 23).

Все более критическую рефлексию встречают тезисы об окончательности прогресса в области социально-политического устройства общества и достижении отдельными обществами некоего предельно совершенного либерально-демократического рыночного состояния, когда пространство прогресса (улучшающих изменений) остается только в науке и технологиях. Конец *конца истории* воскрешает радикальные возможности для прогресса и для регресса, показывая, что современные общества находятся в состоянии постоянных изменений. Прежние лидеры и гегемоны могут деградировать, а нарастающие отклонения имеют шанс стать новыми нормами в системе идеологических координат, предлагающей другие интерпретации прогресса, общественного блага, справедливости, свободы и т.д.

Нарратив либерализма демонстрирует тенденцию отказа от модели либерального консенсуса коллективных политических интересов: а) на основе современных идеологий и б) в пределах отдельных наций – в пользу формирования контуров глобальной либеральной этики, основанной на согласии относительно универсальных прав и свобод человека и запросах на выработку глобальных морально-политических конвенций. Параллельно существующая негативная тенденция состоит в том, что либеральный консенсус претерпевает трансформацию, связанную с потерей идеологического содержания. Для его выражения служит риторика *здравого смысла, популизма и прагматизма*.

Нарратив демократии претерпевает эволюцию от принципов диктатуры большинства, мобилизации масс и расширения круга граждан, наделенных политическими правами, к проблемам сосуществования многосоставного общества, доступа к гражданским правам и равенству возможностей граждан и иммигрантов. Эволюция нарратива национализма связана с движением от сакрализации территориального суверенитета к экстра-территориальным принципам *открытого права*. Территориально организованные нации в *плоском мире* (Т. Фридман) не могут обрести необходимой убедительности в области выработки политического законодательства для всего человечества. В условиях открытости границ и усиливающейся мобильности легитимирующие доводы любых решений и законов неизбежно смещаются от национального масштаба к масштабу всего человечества.

Политическая логика наций-государств все меньше соответствует интенсивному взаимодействию и взаимозависимости человечества на глобальном уровне. Переход к позднему Модерну характеризуется своего рода распадом скреп нормативного национализма как единства индивидуальных прав, коллективной автономии граждан и территориально



ограниченного суверенного пространства. Фактор сакрализации ограниченной территории становится менее значимым. Соответственно, нации как территориальные сообщества испытывают возрастающий дефицит легитимности. Возрастающий дефицит легитимности испытывают и национализм, концепции суверенитета, исторической, этнической, языковой близости членов территориального сообщества. Историческая реализация утопии национального Модерна в форме наций-государств для большей части человечества одновременно оборачивается ее профанизацией как потерей национальной политикой трансцендентного измерения сначала для элит, а потом для всех остальных.

Если национализм возник как исторический способ интеграции и внутренней унификации гетерогенного политического пространства в ходе централизации многосоставных государств, то в настоящее время он может быть переосмыслен как способ защиты конкретного общества от глобальной экспансии мироэкономики, поляризующей национальные сообщества и усиливающей их зависимость от внешних факторов, субъектов и контекстов взаимодействия. Эффект экономического роста в течение определенного исторического периода затушевывал моральную ограниченность и негуманную целерациональность капиталистической миросистемы. Завершенная глобализация капитала и технологические революции, девальвирующие ценность *людей труда*, а также остановка глобального экономического роста заставляют пересмотреть классический нарратив капитализма, связанный с постоянной географической экспансией и рыночной конкуренцией, в пользу рентных моделей (см.: Мартьянов 2017а).

Следует отметить, что ценностное ядро Модерна *амбивалентно*, оно одновременно является способом *объяснения*, но также *реморализации/легитимации* практик капитализма. Модерные идеологии и утопии призваны смягчить провоцируемый капитализмом перманентный моральный кризис в условиях экспансии ограниченной модели *человека экономического*, которая совершенно недостаточна для удержания общества от распада (см.: Мартьянов 2017б). В свою очередь капитализм стремится отождествиться с Модерном посредством его редукции к *нейтральным* теориям *модернизации, прогресса, развития*, призванным замаскировать отсутствие в нем каких-либо социальных целей и коллективных надежд (см.: Jameson 2009). Капитализм не имеет всеобщей политической цели, какого-либо горизонта социальной утопии, не может произвести самолегитимации, касающейся общества в целом. Поэтому он вынужден обращаться к паллиативным вариантам внеэкономического оправдания своих экономических практик, прежде всего к отождествлению с Модерном. Первоначальная логика расширения капитализма как *колониализма* и *прогрессорства* была впоследствии подвергнута обоснованной критике. Не меньшей критике была подвергнута и экспансия капитализма во все сферы социальной жизни, выходящие за пределы рыночных обменов, породившая тотальную коммодификацию социальных отношений.

В данном контексте очевиден идейный генезис Модерна из кризиса религиозной регуляции традиционного общества. Принципы капитали-

стической миросистемы, освобожденной от ограничителей христианской морали, зародились в Европе XVI в., а затем через циклы буржуазных революций, процессы колонизации (вестернизации), глобализации культурных, экономических, массмедийных коммуникаций постепенно охватили весь мир.

Концепция прав и свобод человека, фундированная либеральным консенсусом, стала своеобразным способом сосуществования христианских ценностей в их гуманистической, секулярной интерпретации и логики функционирования капитализма, во многом строящейся на попрании данных ценностей. Модерные идеологии смогли обосновать гибридные интеллектуальные конструкции, совмещающие ценности рынка, конкуренции, личного успеха, бесконечного накопления капитала, классового неравенства людей, свойственные общественным отношениям эпохи капитализма, с христианскими принципами милосердия, равенства, братства, солидарности и взаимопомощи. В силу этого ценности Модерна характеризуются не присущей традиционным обществам двойственностью: последовательным разделением и автономизацией частной и публичной сфер, где в области частной жизни продолжает существовать христианская мораль, в то время как правила публичной сферы определяются более ограниченными прагматическими версиями морали *экономического человека*.

В области политической философии в качестве эффективной стратегии этической самокоррекции Модерна выступают *теории справедливости*, позволяющие ему сохранять утопическое измерение. Теории справедливости в современной политической мысли приобретают популярность как инструментарий *ремонта* общества позднего Модерна в контексте поддержания легитимности *status quo*. Однако в перспективе Модерна потребуются скорее не дискурс *ремонта* (Дж. Александер), не возврат к *этике добродетели* (А. Макинтайр) или консервация *конца истории* (Ф. Фукуяма), а принципиальная способность к конструированию более универсальных этических оснований своего существования, которые можно было бы положить в основу публичного общественного согласия.

#### IV

О сохраняющемся внутреннем единстве Модерна позволяет утверждать его ценностная консолидация при вариативности институциональной реализации в конкретно-исторических обществах. Модерн можно рассматривать как относительно открытый для изменений конструктор ценностей и вариантов их взаимодействия, в том числе институционального. Однако наличие *пространства интерпретации* ценностей не отменяет концептуального единства и конечности базового ценностного набора Модерна, а также его иерархической структуры. В противном случае подтверждение или признание Модерна как *целостного концепта* и/или *феномена* оказалось бы чрезвычайно затруднительным, если вообще возможным (см.: Wagner 2008).

В ходе исторической эволюции Модерна можно наблюдать его последовательное разотождествление с европейской версией, представлявшей канонической и единственно правильной в дискурсах *колониализации, догоняющей модернизации, вестернизации, цивилизации и транзитологии*. Поздний Модерн является географическим расширением на весь мир своей первоначальной европейской модели, избавившейся от своего *особенного* культурно-исторического содержания и традиций в пользу политических идей и институтов, ставших универсальными. На глобальном уровне Модерн отказывается от своих нетранзитивных уникальных черт в пользу таких своих свойств, которые действительно могут стать всеобщими, надстраиваясь над любыми предшествующими традициями и культурами.

Модерн нормативно универсален, но при этом достаточно гетерогенен в институциональном плане, в области реализации своего ценностного ядра. Эта конкуренция институциональных версий Модерна является условием его гибкого, недогматического развития во всем мире. Неодновременность развития Модерна в разных частях мира обусловила тот факт, что после европейской все более поздние версии институционализации современного общества уже имели перед собой готовые образцы модерности, с которыми они вступали в разнообразные культурные конфликты и взаимодействия.

Таким образом, если изначальное культурно-историческое ядро Модерна было детерминировано Европой или – шире – Западом, то в дальнейшем можно говорить о растущей культурной индифферентности постевропейского Модерна, его автономии от *path dependence* (зависимость от предшествующего развития), о чем свидетельствует множество примеров эффективной модернизации государств и регионов, культурно отличных от Европы. Глобализация Модерна подтверждает большую релевантность в поисках общественных закономерностей современного общества аргументации гегелевско-марксистской философии истории и формационного подхода, чем позиций цивилизационных теорий (Ч. Тейлор, С. Хантингтон, П. Бьюкенен, Дж. Томпсон, Дж. Александер и др.), акцентирующих важность культурных отличий обществ. К тому же попытки синтеза формационного и цивилизационного подходов в нечто третье, например в виде *социокультурного подхода*, представленного в концепции *множественной современности* (Ш. Эйзенштадт, Й. Арансон, В. Шлюхтер, Б. Виттрок и др.), оказываются эвристически неудовлетворительными и методологически противоречивыми (см.: Eisenstadt 2000). Методологическая проблема указанных теорий, опирающихся на представление о *цивилизационной норме*, состоит в том, что они трактуют все многообразие не вписывающихся в них обществ лишь как *временные отклонения*. Но отклонения, как правило, не исчезают, а продолжают накапливаться, пока под вопросом не оказывается легитимность самой нормы, в том числе и для той цивилизации, которая, породив исторический образец, со временем все больше отступала от него. Безусловно, при расширении и интенсификации Модерна существуют *откатные волны и реакции отторжения* на слишком быстрые процессы догоняющей или авторитарной модернизации полупериферии и периферии капиталистиче-

ской миросистемы. При этом возникает интеллектуальный соблазн именно контрмодернизационные волны и консервативные реакции принимать за доказательство существования непреодолимых культурных различий, возврата к традиции, цивилизационной уникальности и автономии конкретных обществ, что обуславливает неприменимость к ним современных ценностей. Однако трудности на пути к Современности вовсе не тождественны отказу от Модерна.

Тезис о *множественной современности* априори предполагает сохранение и легитимацию домодерных культурных отличий в ценностной системе Модерна, оборачиваясь цивилизационным подходом, который пользуется концептуальным аппаратом Модерна для его опровержения и фрагментации. Сторонники цивилизационного подхода совершенно невнятным образом упрекают миросистемный подход и марксизм именно в том, в чем они методологически наиболее сильны и последовательны, в частности в неспособности к познанию и убедительному обобщению закономерностей человеческой истории, а также в том, что в них якобы «не учитывается принцип “историзации”, роль исторической контингентности, автономии культуры и герменевтической открытости самой модерности, которые порождают множественные интерпретации и конкурирующие программы социального устройства» (Козловский 2021: 128). В процитированном выше тексте далее указывается, что «преодоление эвристических ограничений линейно-телеологических, детерминистских и западоцентричных подходов в научном осмыслении многообразия опыта модернизации и гетерогенности современных обществ стало стимулом для разработки теории множественных модерностей» (Козловский 2021: 128). Однако эти исследовательские вопросы давно и плодотворно обсуждаются в мейнстримных направлениях марксизма и миросистемного подхода в виде критической рефлексии второго, позднего или глобального Модерна. Общественные науки XXI в. отказались от карикатурно представленного в цитате европейского цивилизаторства, прогрессизма и колониализма образца XIX в. *Множественная модерность* становится пустым понятием, поскольку отказ от линейности истории, западоцентризма и чувствительность к культуре вполне эффективно сочетаются с анализом общечеловеческих закономерностей развития современного общества как такового, которое нет необходимости дробить на автономные подмножества, имевшие место в истории.

Указанный подход некритично смешивает универсализм ценностей Модерна, фоновые закономерности человеческого развития в *долгом историческом времени*, выходящие за пределы любых цивилизаций, с очевидным различием культурных сред и моделей их реализации. Уязвимость методологического компромисса, заложенного в концепции *множественной современности*, состоит в том, что Модерн, трактуемый как соревнование разных культурных программ, неизбежно превращается в попытку предложить некие объясняющие общество *цивилизационные модели* Модерна, детерминированные историко-культурными особенностями мировых цивилизаций. А значит, Модерн не упраздняет предшествующие ему

исторические цивилизации, наоборот, цивилизации становятся современными, не утрачивая своих непреодолимых культурных различий. Таким образом, *множественность модерности* в эпоху Модерна превращается в сохраняющееся множество цивилизаций, в совокупность не связанных между собой модерностей.

Представляется, что в действительности конфликт Модерна с культурой отдельных цивилизаций невозможен, так как предшествующие культурные отличия неизменно уходят на периферию общественной жизни. Культурные нормы Модерна впервые появились на Западе, однако при распространении за его пределы они не ведут к автоматической *колонизации* и *вестернизации*. Принятие ценностей рынка, либерализма, демократии, прав человека, прогресса и т.д. не тождественно подрыву оснований какой-либо незападной культуры – эти ценности являются вызовом *любой предшествующей* традиционной культуре, в том числе западной традиции. Поэтому все более популярная *культуроцентричная* концепция *множественной модерности* содержит фундаментальную концептуальную натяжку – культурные факторы относятся к значимым домодерным отличиям человеческих обществ, но вряд ли являются таковыми внутри глобального Модерна (см.: Мартьянов 2010). В данном контексте любая культура имеет значение, однако культурные версии не могут рассматриваться в качестве доминирующих объяснительных факторов внутри Модерна, в чьем культурном анамнезе история Запада, освобожденная от своей партикулярности. Представляется, что проблема влияния культурных факторов в контексте глобального Модерна более сложна. Каждое общество стремится подобрать более тонкие социокультурные настройки, способствующие эффективному сочетанию индивидуальной автономии, коллективного взаимодействия, рыночной и государственной регуляции в реализации современных ценностей с учетом зависимости от предшествующего культурного развития. Настройка культурной среды развертывания Модерна в конкретно-историческом обществе является лишь производной проблемой, которая переоценивается и ставится приверженцами *множественной модерности* в центр их концептуальных построений.

Глобальное масштабирование и интенсификация Модерна осуществляются в условиях *исторической неодновременности* разных обществ. Это дает повод для интеллектуальных спекуляций о непреодолимости культурных барьеров и традиций разных цивилизаций, хотя на самом деле культурное единство современных наций-государств формировалось одновременно с их экономической и политической консолидацией, а вовсе не предшествовало ей. Более того, процессы универсализации норм и стандартов культуры, политики, экономики и права в современном мире доминируют над вторичной реакцией на них, выражаемой в попытках культурной, этнической, религиозной фрагментации мира. Поэтому черпать ресурсы дальнейшего развития в сомнительных исторических аналогиях, цивилизационном подходе, традиционализме, фундаментализме, *культурной генетике*, непреодолимых идентичностях или моделях этнонационализма представляется все менее эффективным предприятием.

Глобальный Модерн предполагает способность конкретного общества жить в соответствии со всеобщими политическими правилами, одновременно их вырабатывая; мыслить с общечеловеческих позиций, принимая во внимание более универсальные закономерности и фоновые факторы, выходящие за пределы суверенной территориальности, исторического национального мифа и охватывающие все человечество. *Если национальный Модерн предстает институционализацией либеральной утопии, то движение к общечеловеческому Модерну парадоксальным образом оборачивается не отрицанием, а радикализацией ее ценностных оснований.* Например, Э. Гидденс рассматривает глобализацию как процесс ценностной радикализации Модерна, охватывающий весь мир, как переход от его *ограниченной* версии к *зрелой* (см.: Giddens 1990). Этот переход характеризуется возрастанием динамики социальных изменений и триумфом индивидуальности, которая радикально освобождается от внешних регуляторов и выражается ростом осознанной или рефлексивной социализации, приходящей на смену социальности, регулируемой обществом. Глобализация предстает как *мегатенденция*, все более принимающая незападный вид, охватывая мир в целом и бросая вызов привычной системе наций-государств.

Глобальный Модерн культурно, географически и исторически все менее соответствует классическим теориям модернизации, пытавшимся выстроить универсальную иерархию Модерна в мировом масштабе, где страны центра миросистемы являют образцы *конца истории* для вечно отстающей периферии, стремящейся к капитализму, демократии, формированию нации-государства, рациональной бюрократии, автономии индивида, разделению власти и собственности и т.д. Когда общие идейные универсалии реализуются на практике в разных регионах мира, неизбежно возникают институциональные инварианты сплава либерализма, демократии, национализма и капитализма внутри Модерна. Однако перенос конкретной конфигурации национального Модерна в неизменном виде на любую иную социокультурную реальность невозможен. Политические нормы в основании Европейского союза принципиально отличаются и во многом отрицают изначальные принципы национального Модерна. От сакрализации территориальности наций-государств может со временем произойти отказ в пользу более универсальных политических проектов, предполагающих своим местом действия весь мир и все человечество.

Промежуточным этапом движения от наций-государств к глобально более интегрированной и консолидированной мирополитике может быть усиление регулятивной роли межстрановых объединений, таможенных и валютных союзов, зон свободной торговли, общих рынков и т.д. Ценностная и институциональная интеграция человечества предполагает ослабление в мирополитике военного, географического и политического центра. Центр будет функционировать не как экономическая монополия или политический гегемон, но скорее как места сгущения ресурсов, наложения иерархий и сетей в разных областях. Центр будет меньше выражен институционально, но больше – ценностно, на уровне общих правил и целей.

## V

Историческим вызовом Модерну выступает накопление его ценностно-институциональных противоречий, связанных с постоянным изменением доминирующих политических субъектов и социальных групп. Структура современного общества не является статичной, она внутренне противоречива, находится в процессе бесконечного становления и обновления. На ее преобразование влияет множество процессов, связанных с исторической динамикой изменения ключевых социальных групп и их ценностей, технологий, ресурсной базы общества, принципов распределения ресурсов, критериев коллективной идентичности в пространстве и времени и т.д. Новейшие социальные движения за свободу все более локальных меньшинств (этнических, гендерных, классовых, региональных и т.д.) апеллируют к обещаниям окончательного и всеобщего освобождения, данным идеей прогресса, но не выполненным в полном объеме ни в одном современном обществе. Однако, пытаясь выполнить эти утопические обещания, протестные движения позднего Модерна парадоксальным образом приходят к противоположному результату. Разрушив многие достигнутые ранее социальные, политические, культурные конвенции *классового-индустриального* или *организованного Модерна* (П. Вагнер), они не смогли предложить принципиально новой сборки альтернативных механизмов политической гегемонии и воспроизводства общественного согласия и лишь критиковали несовершенство статус-кво и усиливали аргументы в пользу множества локальных конфликтных линий, пронизывающих позднемодерное общество.

Например, первоначально развертывание либеральной утопии предполагало включение всего населения в состав политического класса и наделение в качестве граждан конфигурацией базовых прав и гарантий взамен на обязательства, выходящие за пределы повседневной жизни и связанные с повышением налоговой нагрузки, активным участием в управлении и войнах. Всеобщая доступность формальных прав породила новые горизонты утопии освобождения, связанные с требованиями интенсификации коллективного участия в принятии общественно значимых решений (в политике, экономике, культуре и т.д.), расширением социальных лифтов и возможностей индивидуального самовыражения. Потенциальное расширение свобод в указанных направлениях не имеет предела, а потому приводит к разрушению либерального консенсуса посредством порождения множественных стандартов, возможностей и доступов к ресурсам для все более дифференцированной и все более неравной между собой совокупности разных коллективностей. Порядок легитимного доминирования и организованного господства, который опровергают локальные социальные группы, в итоге не сменяется всеобщим освобождением и прогрессом, но приобретает все более уродливые и противоречивые конфигурации, пронизанные двойными стандартами и избирательными решениями, которые направлены на деконструкцию и критику либерального консенсуса.

Радикализация ценностей Модерна, вне контекста конкретных историко-культурных наций и сложившихся в них дисциплинарных вариаций политических порядков, зачастую характеризуемых как железные клетки для духа свободы, ведет к новым противоречиям современного общества. Это проявляется в феномене рефлексивной модернизации, когда в позднемодерных обществах критическая мысль обращается на исходные ценностные основания Модерна, сравнивая утопические обещания с несовершенными (частичными и непоследовательными) результатами их воплощения, в свою очередь порождающими новые социальные противоречия, несправедливости и конфликты (см.: Векс 1992). Это происходит в том числе и потому, что новые социальные движения во имя прогресса и свободы все чаще предлагают партикулярные решения, улучшающие положение отдельных меньшинств, которые не могут стать тотальной альтернативой нарративу Модерна, в чьем фундаменте находится агрегация интереса большинства. Это взаимоприемлемый и терпимый уровень несогласия ключевых групп, примиряющий большинство с социально-политическим и экономическим порядком. Более того, совершенствуются технологии наблюдения, контроля, манипулирования и дисциплинирования граждан, что вызывает дополнительное отторжение большинства от публичной сферы и властных меньшинств, активно пользующихся стратегиями биополитики в собственных интересах (см.: Фуко 2011).

В результате совокупность социальных движений по разным основаниям опровергает базовый нарратив Модерна и стоящий за ним порядок гегемонии, но вместе с ними расшатывается достигнутое ранее и институционально закрепленное дисциплинарное пространство базовой всеобщей свободы, справедливости и равенства перед законом. В подобной трактовке последовательная радикализация разнообразных производных, дополнений и интерпретаций либерального консенсуса Модерна в итоге создает ситуацию всеобщего ресентимента, в которой невозможно договориться о нормативном и универсальном самопонимании общества. Общество последовательно распадается на совокупность мало пересекающихся либо параллельных социальных миров, регулируемых собственными автономными нормами, которым не требуется быть признанными, а тем более желательными ключевыми социальными группами. Это структурно возвращает ситуацию Средневековья как *общества сообществ*, в котором отсутствовала всеобщая уравнивающая публичная сфера для аристократии, монашества, городских ремесленников, крестьян, военного сословия и т.д. (см.: Гизо 2007: 185).

В *долгом историческом времени* (Ф. Бродель) достигнутое Модерном правовое равенство и индивидуальная автономия граждан внутри политического сообщества, а также степень их вовлеченности в публичную сферу являются уникальными. Величайшей наивностью было бы думать, что подобная историчная ценностно-институциональная конфигурация воплощенной утопии дана человечеству навсегда. Собственные противоречия и трансформации Модерна нарастают, а распад ранее универсальных способов легитимации политических решений, сборки нации, гражданства,



политических и экономических форм статистически является довольно вероятным в ситуации, когда каждое меньшинство борется только за *свою* свободу, интересы и права, теряя горизонт всеобщей свободы. Это означает игнорирование того, что социально-политическое взаимодействие граждан опосредовано разными коллективностями, а следовательно, всем и всюду необходимо договариваться с другими политическими субъектами в рамках конкретно-исторических обществ, сложившихся политических порядков и институтов без апелляций к абстрактному человечеству, обществу или человеку вообще, существующему вне времени и пространства (см.: Вагнер 2022).

Более того, новейшие интерпретации Модерна и цели социальных движений в конкретных обществах вовсе не обречены быть либерально-демократическими и ориентированными на западные образцы. Это может быть, например, вполне сознательный выбор в пользу мусульманской версии современного общества, как в Иране, или китайская версия социализма, демонстрирующая впечатляющие успехи в быстром подъеме уровня жизни полутора миллиардов китайцев. В значительной степени судьба Модерна будет связана с поиском новых интерпретаций социально-политического прогресса, которые могли бы стать более убедительными для меняющегося большинства позднемодерного общества и обеспечить легитимность стоящего за ним политического порядка как предельного гаранта интересов большинства граждан.

Ключевой проблемой реализации утопии Модерна является возможность установления такой устойчивой институциональной конфигурации, которая бы сама по себе нивелировала субъективные предпочтения и аффекты действующих социальных агентов, нацеленные на дискредитацию и фрагментацию современных ценностей: «Если разделить понятие “модерн” на основные составляющие, то обнаружатся четыре элемента: индивидуализм, рационализм, универсализм и акцент на анализе институтов» (Вагнер 2019: 214-215). Институты, с одной стороны, формализуют и гарантируют достигнутые свободы индивидов, с другой – выступают способом нормативизации и синхронизации индивидуального поведения, выполняя важную роль в базовых процессах социализации и поддержания социального порядка.

В ходе исторического развертывания и глобализации Модерна исходные утопии, ценности и идеи были частично воплощены, а частично переосмыслены, подвергаясь постоянной критике, усложнению и дифференциации вслед за онтологическими изменениями современного общества и конфигурации его ключевых социальных групп. Если первый Модерн, как либеральная утопия, стал интеллектуальной рефлексией вызовов, угроз и негативных изменений, инициированных историческими процессами становления капиталистической миросистемы, то второй Модерн концептуализируется как критическое размышление над практическими итогами реализации утопии первого Модерна, породившей новые непредсказуемые противоречия. Эти итоги являются двусмысленными и неокончательными, так как, расширив базовые возможности для большинства, они в то же время вызвали к жизни новые факторы и основания социальных конфликтов.

## VI

Модерн в перспективе дальнейшего развития столкнется с серьезными препятствиями и вызовами, однако у него есть значительный потенциал для сохранения своего глобального доминирования. Модерн остается базовым способом самоописания (аутопойезиса) общества в виде объяснения, легитимации и самокоррекции ценностно-институциональной иерархии с целью консолидации базовых социальных групп и стабильного воспроизводства политического порядка, позволяющего удерживать общество от распада посредством широкого признания его ценностного ядра и поддержания его функционирования институтов и коллективных практик.

В контексте комплексных процессов глобализации Модерна одним из ключевых ценностных вызовов является возможность достройки уже существующей капиталистической мироэкономики до *мирополитики*. Все более интенсивное взаимодействие и взаимозависимость человечества на глобальном уровне требуют создания более эффективных механизмов саморегуляции как заботы об интересах человечества в целом. Эта проблема сохраняет утопическое измерение Модерна, его открытость будущему и способность к дальнейшему ценностно-институциональному совершенствованию и доминированию по отношению к любым альтернативным проектам.

В настоящее время экономическая интеграция мира значительно опередила политическую и этическую. Глобализация ценностных оснований Модерна тематизирует этические основания ограниченных интересов и стратегий наций-государств, лидирующих в мире. Эффективная мирополитика предполагает в качестве своего условия выравнивание политического, экономического и правового статуса крупных суверенных наций. Как и во внутреннем публичном пространстве наций-государств, только наличие альтернативных субъектов по отношению к гегемону создает возможность для реальной политики. Переплетение макрорегиональных версий Модерна является более удачной метафорой процесса консолидации человечества, чем попытки выстроить ситуативные иерархии, идеологически зависимые от могущества стран-гегемонов. Более того, глобальный Модерн впервые в человеческой истории содержит возможность создания мирополитики, в которой политическое постепенно утрачивает внешнее пространство, заполненное исключительно врагами. В любых интерпретациях Модерна политика организуется коллективными субъектами разного масштаба, профиля, генезиса. Они могут принадлежать в том числе к формально неполитическим сферам, которые при необходимости могут становиться политическими, обретая шмиттовское политическое измерение друг-враг. В этом смысле рассуждения об индивидуальных свободах и автономии отдельных граждан являются скорее напоминанием о возможности участия в политике в составе тех или иных гражданских структур, нежели о возможности прямо влиять на принятие общественно значимых решений.

Потенциально любая страна, любое коммуникативное сообщество может стать инициатором создания более универсальных принципов Модерна. В глобальной политической дискуссии по поводу доминирующих ценностей стратегически более сильны позиции тех участников, которые могут предложить человечеству предельно эгалитарные, космополитические варианты решений всеобщих проблем. Варианты, исходящие из долгосрочных интересов всего человечества, а не из интересов отдельных элит, классов, наций, регионов мира. Подобная идеалистическая логика не приносит прямых и ощутимых дивидендов субъектам и обществам, которые ее иницируют, более того, она часто ведет к материальным издержкам, окупаемым лишь символически, как например в случае СССР, эффективно помогавшего национально-освободительным движениям во всем мире и поднимавшего до уровня метрополии собственную периферию.

Приоритетной задачей отдельных государств становится не столько контроль и распределение внутренних ресурсных потоков, сколько обеспечение общих инфраструктурных условий для развития сообщества граждан, что выражается в популярной концепции *сервисного государства*. Движущая сила социальных перемен все чаще связана с созданием институциональных возможностей для расширения доступного спектра самореализации граждан, в том числе в контексте растущего влияния постматериальных ценностей. Любая нация может улучшить свое положение не только экономическим путем, но и заботой об общем будущем, в котором есть достойное место всем (см.: Мартьянов, Фишман 2010). Приход будущего – это в первую очередь этический поворот. Мы не знаем, каким будет будущее, но мы можем знать, каким оно должно быть. Элементы глобальной политической этики в основе будущей мирополитики вырабатываются в альтерглобалистских, коммунитарных, космополитических, экологических, анархистских, технократических дискурсах, в том числе направленных против издержек неолиберальной модели глобализации Модерна. Убедительным этическим зарядом обладают работы исследователей (С. Джордж, Б. Кагарлицкого, А. Каллиникова, Э. Лакло, Ш. Муфф, Ф. Джеймисона, С. Жижика и др.), которые придерживаются неомарксистского и коммунитарного видения глобального мира и выступают за альтернативные неолиберализму механизмы глобализации Модерна. Однако подобная критическая этика часто строится на противостоянии второстепенным издержкам глобализации, приобретающая характер фундаменталистских ультрапроектов, стремящихся вернуть человечество к некой идеальной исторической развилке, на которой оно сошло с истинного пути развития. Такая критика, утрируя всю сложность и двойственность процессов современного мира, на самом деле лишь укрепляет свои объекты.

Глобальный Модерн продолжает оставаться внутренне противоречивым и способным к развитию проектом. В ядро его нарратива под воздействием разнообразных изменений и вызовов постоянно имплементируются новые идеи и их интерпретации, в том числе те, что в первоначальных версиях были отодвинуты на периферию или даже отвергнуты. Законо-

мерности и сценарии дальнейшей трансформации Модерна вариативны, так как исходят из совокупности непредсказуемых онтологических и технологических факторов, влияющих на видоизменение его ценностно-институционального ядра. Онтология глобального Модерна представляет образ открытого для изменений общества, лишённого неизменных трансцендентных оснований. Это общество, где политическое является предметом посюстороннего, постоянно пересматриваемого и рефлекслируемого согласия социальных групп, обладающих высокой автономией в области конструирования, коррекции и продвижения своих ценностей, интересов, правил и форм политической организации общества в целом. Соответственно, инструментальные задачи политической теории связаны с осмыслением запросов на легитимацию новых социальных групп и запросов на назревшие социальные изменения, касающиеся правил совместного проживания, иерархии приоритетов и справедливого распределения доступных ресурсов.

Значимый актуальный импульс эволюции Модерна связан с тем, что новой конфигурации социальных групп придется обновлять принципы социального согласия и распределения доступа к общественным ресурсам в условиях *общества без экономического роста, массового труда и с ведущей ролью государства*. В связи с этим в центр самоописаний Модерна все активней выдвигаются модели *рентного доступа*, связанного с дистрибутивными ресурсными обменами, *безусловным доходом* и восстановлением *внеэкономической ценности* каждого человека (см.: Фишман, Мартьянов, Давыдов 2019). Категориальный аппарат Модерна, сформировавшийся под историческим влиянием западной гегемонии, либерального консенсуса, метафоры рынка, ценности демократии и идеи бесконечного экономического роста, все менее соответствует наблюдаемой социальной онтологии. В подобном прагматическом контексте рыночные, демократические, либеральные теории *должного общества* обнаруживают негативную изнанку прогрессорства и манипуляций.

Представляется, что в будущем возрастет значение групп, занятых производством разного рода услуг, связанных с взаимодействием между людьми, которые не сводятся полностью ни к отношениям на рынке, ни к контролируемому государством распределению ресурсов. Наконец, в контексте легитимации новейших изменений современного общества совершенствуются и популистские политические риторики, в противовес универсализму и равенству морали *большого общества* направленные на обоснование локальных сословно-корпоративных добродетелей и привилегий. Эти добродетели становятся основанием для новых конфликтов в виде эксклюзивного доступа к общественным ресурсам для отдельных социальных групп, например путем признания их персональных преимуществ (аристократия, меритократия), капитализации реальных или воображаемых исторических и социокультурных травм, а также поводом для отказа в рентном доступе другим группам (мигрантам, негражданам, безработным, самозанятым и т.д.).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Александр Дж. 2013. Модерн, анти-, пост- и нео-: как интеллектуалы объясняют «наше время» // Александр Дж. Смыслы социальной жизни: культуросоциология. Москва : Праксис. С. 505-600.

Вагнер П. 2019. Макс Вебер и модерн XXI века // Социологическое обозрение. Т. 18, № 4. С. 212-230.

Вагнер П. 2022. От господства к автономии: две эпохи прогресса в мировой социологической перспективе // Антиномии. Т. 22, № 3. С. 72-95. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_72.

Гизо Ф. 2007. История цивилизации в Европе. Москва : Территория будущего. 330 с. (Университет. б-ка Александра Погорельского). (История. Культурология).

Ильченко М.С., Мартьянов В.С. (ред.) 2015. Постфордизм: концепции, институты, практики / под общ. ред. М.С. Ильченко, В.С. Мартьянова. Москва : Росспэн. 278 с.

Каминаер Т. 2022. В ловушке настоящего: планирование, архитектура и время постмодерна // Антиномии. Т. 22, № 3. С. 119-135. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_119.

Капустин Б.Г. 1998. Современность как предмет политической теории. Москва : Росспэн. 308 с.

Капустин Б.Г. и др. 2010. Современность: дилеммы и парадоксы : (материалы «круглого стола») / Капустин Б.Г., Архипов А.Ю., Драч Г.В., Козер В., Лешкевич Т.Г., Макаренко В.П., Морозова Н.О., Поцелуев С.П., Старостин А.М., Узнародов И.М., Швец Л.Г., Шкуратов В.А. // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. № 3. С. 25-102.

Козловский В.В. (ред.) 2021. Российское общество: архитектоника цивилизационного развития / Р.Г. Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов, В.В. Козловский, Е.В. Масловская, М.В. Масловский, Ю.А. Прозорова; отв. ред. В.В. Козловский. Санкт-Петербург. 340 с.

Латур Б. 2006. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. Санкт-Петербург : Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге. 240 с. (Прагматический поворот ; вып. 1).

Мартьянов В.С. 2010. Один Модерн или «множество»? // Полис. Политические исследования. № 6. С. 41-53.

Мартьянов В.С. 2017а. Капитализм, рента и демократия // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). Т. 9, № 1. С. 51-68. DOI 10.17835/2076-6297.2017.9.1.051-068

Мартьянов В.С. 2017б. Политические пределы homo economicus // Общественные науки и современность. № 2. С. 104-118.

Мартьянов В.С., Фишман Л.Г. 2010. Россия в поисках утопий. От морального коллапса к моральной революции. Москва : Весь мир. 256 с.

Мунк М. де, Гилен П. 2022. У нас все еще есть мечта. Призыв к разумно дерзкой науке // Антиномии. Т. 22, № 3. С. 9-25. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_9.

Тейлор Ч. 2022. Современный моральный порядок // Антиномии. Т. 22, № 3. С. 26-41. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_26.

Фишман Л.Г. 2008. От Катехона к Вавилону // Политический класс. № 5(42). С. 21-33.

Фишман Л.Г., Мартьянов В.С., Давыдов Д.А. 2019. Рентное общество: в тени труда, капитала и демократии. Москва : Издат. дом Высш. шк. экономики. 416 с. DOI 10.17323/978-5-7598-1913-4

- Фуко М. 2011. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году. Санкт-Петербург : Наука. 544 с.
- Хабермас Ю. 2005. Модерн – незавершенный проект // Хабермас Ю. Политические работы. Москва : Праксис. С. 7-31.
- Хобсбаум Э. 2004. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). Москва : Независимая газета. 632 с. (История великих цивилизаций).
- Acemoglu D., Robinson J.A. 2012. *Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. New York : Crown Publishers. 529 p.
- Bauman Z. 2000. *Liquid Modernity*. Cambridge : Polity Press. 228 p.
- Beck U. 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London : Sage Publications. 260 p.
- Eisenstadt S. 2000. Multiple modernities // *Daedalus*. Vol. 129, № 1. P. 1-29.
- Fukuyama F. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York : Free Press. 418 p.
- Giddens A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge : Polity Press. 186 p.
- Inglehart R., Welzel C. 2005. *Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge, UK ; New York ; Cambridge Univ. Press. X, 333 p.
- Jameson F. 1991. *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham, NC : Duke Univ. Press. XXII, 438 p.
- Jameson F. 2009. *Valences of the Dialectic*. London : Brooklyn, NY : Verso. 625 p.
- Liotard J.-F. 1979. *La Condition postmoderne*. Paris : Les Edition de Minuit. 128 p.
- MacIntyre A. 1981. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. 3rd ed. Notre Dame, Indiana : Univ. of Notre Dame Press. 300 p.
- North D., Wallis J., Weingast B. 2009. *Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. Cambridge, NY : Cambridge Univ. Press. XVII, 308 p.
- Wagner P. 2008. *Modernity as Experience and Interpretation. A New Sociology of Modernity*. Cambridge, UK : Polity Press. 307 p.
- Wagner P. 2017. *The End of European Modernity? // Changing Societies & Personalities*. Vol. 1, № 2. P. 128-135. DOI 10.15826/csp.2017.1.2.009

### References

- Acemoglu D., Robinson J.A. *Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty*, New York, Crown Publishers, 2012, 529 p.
- Alexander J.C. Modern, anti-, post- and neo-: how intellectuals explain “our time”, *Aleksander Dzh. Smysly sotsial'noy zhizni: kul'tursotsiologiya*, Moscow, Praksis, 2013, pp. 505-600. (in Russ.).
- Bauman Z. *Liquid Modernity*, Cambridge, Polity Press, 2000, 228 p.
- Beck U. *Risk Society: Towards a New Modernity*, London, Sage Publications, 1992, 260 p.
- Eisenstadt S. Multiple modernities, *Daedalus*, 2000, vol. 129, no. 1, pp. 1-29.
- Fishman L.G. From Catechon to Babylon, *Politicheskii klass*, 2008, no. 5 (42), pp. 21-33. (in Russ.).
- Fishman L.G., Martianov V.S., Davydov D.A. *Rental Society: in the Shadow of Capital, Labor and Democracy*, Moscow, Izdatel'skiy dom Vyshey shkoly ekonomiki, 2019, 416 p. DOI 10.17323/978-5-7598-1913-4 (in Russ.).
- Foucault M. *Security, Territory, Population. A course of lectures delivered at the Collège de France in the 1977–1978*, St. Petersburg, Nauka, 2011, 544 p. (in Russ.).

- Fukuyama F. *The End of History and the Last Man*, New York, Free Press, 1992, 418 p.
- Giddens A. *The Consequences of Modernity*, Cambridge, Polity Press, 1990, 186 p.
- Guizot F. *History of civilization in Europe*, Moscow, Territoriya budushchego, 330 p. (in Russ.).
- Habermas J. Modern – unfinished project, *Politicheskie raboty*, Moscow, Praksis, 2005, pp. 7-31. (in Russ.).
- Hobsbaum E. *The Age of Extremes: a History of the World, 1914–1991*, Moscow, Nezavisimaya gazeta, 632 p. (in Russ.).
- Ilchenko M.S., Martianov V.S. (eds.) *Postfordism: concepts, institutions, practices*, Moscow, Rosspen, 2015, 278 p. (in Russ.).
- Inglehart R., Welzel C. *Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence*, Cambridge, UK, New York, Cambridge Univ. Press, 2005, x, 333 p.
- Jameson F. *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*, Durham, NC, Duke Univ. Press, 1991, xxii, 438 p.
- Jameson F. *Valences of the Dialectic*, London, Brooklyn, NY, Verso, 2009, 625 p.
- Kaminer T. Trapped in the Present: Planning, Architecture and Postmodern Time, *Antinomies*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 119-135. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_119. (in Russ.).
- Kapustin B.G. *Modernity as an Object of Political Theory*, Moscow, Rosspen, 1998, 308 p. (in Russ.).
- Kapustin B.G., Arkhipov A.Yu., Drach G.V., Kozer V., Leshkevich T.G., Makarenko V.P., Morozova N.O., Potseluev S.P., Starostin A.M., Uznarodov I.M., Shvets L.G., Shkuratov V.A. Modernity: Dilemmas and Paradoxes (Materials of the Round Table), *The Political Conceptology: Journal of Metadisciplinary Research*, 2010, no. 3, pp. 25-102. (in Russ.).
- Kozlovsky V.V. (ed.), Braslavsky R.G., Galindabaeva V.V., Karbainov N.I., Maslovskaya E.V., Maslovsky M.V., Prozorova Yu.A. *Russian Society: Architectonics of civilizational development*, St. Petersburg, 2021, 340 p. (in Russ.).
- Latour B. *We Have Never Been Modern*, St. Petersburg, Izdatel'stvo Evropeyskogo universiteta v S.-Peterburge, 240 p. (in Russ.).
- Liotard J.-F. *The postmodern Condition*, Paris, Les Edition de Minuit, 1979, 128 p. (in French).
- MacIntyre A. *After Virtue: A Study in Moral Theory*, 3<sup>rd</sup> ed., Notre Dame, Indiana, Univ. of Notre Dame Press, 1981, 300 p.
- Martianov V.S. One Modernity or a “Multitude”?, *Polis. Political Studies*, 2010, no. 6, pp. 41-53. (in Russ.).
- Martianov V.S. The Capitalism, Rent and Democracy, *Journal of Institutional Studies*, 2017, vol. 9, no. 1, pp. 51-68. DOI 10.17835/2076-6297.2017.9.1.051-068. (in Russ.).
- Martianov V.S. The Political Limits of “Homo Economicus”, *Social Sciences and Contemporary World (ONS)*, 2017, no. 2, pp. 104-118. (in Russ.).
- Martianov V.S., Fishman L.G. *Russia in Search of Utopias. From Moral Collapse to Moral Revolution*, Moscow, Ves' mir, 256 p. (in Russ.).
- Munck M. de, Gielen P. We Still Have a Dream. A Plea for a Sensibly Audacious Science, *Antinomies*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 9-25. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_9. (in Russ.).
- North D., Wallis J., Weingast B. *Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*, Cambridge, NY, Cambridge Univ. Press, 2009, xvii, 308 p.
- Taylor Ch. The Modern Moral Order, *Antinomies*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 26-41. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_26. (in Russ.).

Wagner P. From Domination to Autonomy: Two Eras of Progress in World-sociological Perspective, *Antinomies*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 72-95. DOI 10.17506/268672-06\_2022\_22\_3\_72. (in Russ.).

Wagner P. Max Weber and 21st-Century Modern, *The Russian Sociological Review*, 2019, vol. 18, no. 4, pp. 212-230. (in Russ.).

Wagner P. *Modernity as Experience and Interpretation. A New Sociology of Modernity*, Cambridge, UK, Polity Press, 2008, 307 p.

Wagner P. The End of European Modernity?, *Changing Societies & Personalities*, 2017, vol. 1, no. 2, pp. 128-135. DOI 10.15826/csp.2017.1.2.009

*ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ*

**Виктор Сергеевич Мартьянов**

кандидат политических наук, доцент, директор Института философии и права УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия;  
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7747-0022>;  
SPIN-код: 8770-5974;  
E-mail: [martianov@instlaw.uran.ru](mailto:martianov@instlaw.uran.ru)

*INFORMATION ABOUT THE AUTHOR*

**Victor S. Martianov**

Candidate of Political Science, Director, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia;  
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7747-0022>;  
SPIN-код: 8770-5974;  
E-mail: [martianov@instlaw.uran.ru](mailto:martianov@instlaw.uran.ru)





Вагнер П. От господства к автономии: две эпохи прогресса в мировой социологической перспективе. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_72 // Антиномии. 2022. Т. 22, вып. 2. С. 72–95.

УДК 316.012:321.01

DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_72

## От господства к автономии: две эпохи прогресса в мировой социологической перспективе<sup>1</sup>

**Питер Вагнер**

Университет Барселоны

г. Барселона, Испания

E-mail: peter.wagner@ub.edu

*Поступила в редакцию 28.06.2022*

В последние десятилетия вера в прогресс, широко распространенная в течение двух веков после Французской революции, угасла. В этой статье показано, как поставленный диагноз конца прогресса может быть использован в качестве повода для переосмысления того, что представлял собой прогресс и что он может представлять собой сегодня. Это переосмысление предполагает два важных шага. Во-первых, идея прогресса, которая была унаследована от Просвещения, реконструируется и противопоставляется тому, как реально достигался прогресс в ходе исторического развития. На этом этапе показано, что хотя предполагалось, что прогресс будет достигнут за счет автономии личности, в действительности он произошел за счет господства и сопротивления господству. Анализ непродолжительного периода возрождения прогресса, начавшегося в середине XX в., подтверждает эту мысль и фокусирует внимание на трансформации мирового устройства за последние пятьдесят лет, что определяет следующий шаг – анализ этой социально-политической трансформации как знаменующей конец (или почти конец) системы формально закрепленного господства. Современная эпоха часто характеризуется тенденциями глобализации и индивидуализации, а также – с нормативной точки зрения – все большей гегемонистской приверженностью правам человека и демократии. Однако критический анализ современной социально-политической конфигурации показывает, что конец формально закрепленного господства не означает конца истории; он предполагает выработку нового видения будущего прогресса. Прогресс более не может быть достигнут через сопротивление господству – он достигается благодаря автономным коллективным действиям и критической интерпретацией мира, в котором живет человек.

**Ключевые слова:** современность, прогресс, автономия, господство, сопротивление

<sup>1</sup> Оригинальную версию статьи см.: Wagner P. From Domination to Autonomy: Two Eras of Progress in World-sociological Perspective // *Historická sociologie*. 2015. № 2. P. 27–44. Перевод публикуется с любезного разрешения автора.



© Вагнер П., 2022

# **From Domination to Autonomy: Two Eras of Progress in World-sociological Perspective**

**Peter Wagner**

University of Barcelona

Barcelona, Spain

E-mail: peter.wagner@ub.edu

*Received 28.06.2022*

*Abstract.* In recent decades, the belief in progress that was widespread across the two centuries following the French Revolution has withered away. This article suggests, though, that the diagnosis of the end of progress can be used as an occasion to rethink what progress meant and what it might mean today. The proposal for rethinking proceeds in two big steps. First, the meaning of progress that was inherited from the Enlightenment is reconstructed and contrasted with the way progress actually occurred in history. In this step, it is demonstrated that progress was expected through human autonomy, but that it was actually brought about by domination and resistance to domination. A look at the short revival of progress after the middle of the twentieth century will confirm this insight and direct the attention to the transformation of the world over the past half century, on which the second step focuses. This socio-political transformation is analyzed as spelling (almost) the end of formal domination. The current era has often been characterized by the tendencies towards globalization and individualization as well as, normatively, by the increasingly hegemonic commitment to human rights and democracy. A critical analysis of the current socio-political constellation, however, shows that the end of formal domination does not mean the end of history; it rather requires the elaboration of a new understanding of possible progress. Progress can no longer predominantly be achieved through resistance to domination, but rather through autonomous collective action and through the critical interpretation of the world one finds oneself in.

*Keywords:* modernity; progress; autonomy; domination; resistance

*For citation:* Wagner P. From Domination to Autonomy: Two Eras of Progress in World-sociological Perspective, *Antinomies*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 72-95. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_72 (in Russ.).

Между 1979 и 1989 гг. мир изменился. 1979-й – год второго нефтяного кризиса, Исламской революции в Иране, избрания Маргарет Тэтчер на пост премьер-министра Великобритании и выхода в свет «Состояния постмодерна» Жана-Франсуа Лиотара. 1989-й – год падения Берлинской стены, год, когда политолог Фрэнсис Фукуяма провозгласил «конец истории», а философ Ричард Рорти в промежутке между публикацией новых книг выдвинул предположение о том, что социальная и политическая мысль вполне вероятно пережила «последнюю необходимую ей концептуальную революцию». Лиотар утверждал, что развитие обществ не столь очевидно, как это предполагалось социальной и политической мыслью, и далеко от следования

исторической траектории линейной эволюции. Так, например, долгое время считалось, что Иран следует стабильному курсу «модернизации и развития», однако свержение шахского режима свидетельствовало о том, что возможны и другие варианты. Начало конца советской социалистической системы десять лет спустя, напротив, казалось бы, подтвердило тезис о том, что рыночному капитализму и либеральной демократии, говоря словами Маргарет Тэтчер, «альтернативы не существует». В разной по своей сути манере Фукуяма и Рорти оценили и приветствовали эту новую ситуацию, сложившуюся в обществе, политике и интеллектуальной сфере.

Несмотря на очевидные недостатки, концепции Лиотара, Фукуямы и Рорти отразили важную особенность своего времени. Мы можем назвать эту особенность «конец прогресса». На первый взгляд, Лиотар полагал, что прогресс был невозможен или был больше невозможен, тогда как Фукуяма и Рорти утверждали, что весь значительный прогресс уже достигнут. Вывод тем не менее оказался одинаков: если диагноз верный, то в наше время прогресс более не представляется возможным. Даже неутомимый теоретический оптимист Юрген Хабермас выразил свою приверженность духу времени, назвав конец советского социализма «догоняющей революцией» (Habermas 1990). Как заяц в сказке [братьев Гримм], «прогрессивные» политические активисты по всему миру оказались в конце гонки перед лицом либерально-демократического ежа, который с усмешкой говорил: «Я уже здесь».

Думается, что, подобно паре ежей, либерально-демократическая философия истории сыграла с человечеством трюк с зеркалом. По прибытии обнаружилось, что конечный пункт путешествия не имеет ничего общего с тем образом, который утвердился в публичном пространстве. Начиная с 1990-х гг. неограниченный капитализм привел к росту неравенства, ухудшению условий труда и разрушению государства всеобщего благосостояния. Сегодня в мире можно обнаружить огромные территории, на которых законность перестала существовать, а насилие становится все более распространённым. Кроме того, все больше нарушается экологический баланс на Земле, стремительно приближая нас к тому моменту, когда условия жизни начнут резко ухудшаться из-за изменений климата. То, что нас ждет, это, судя по всему, войны и насилия, бедность и неравенство, продолжение эксплуатации и репрессий, которые в лучшем случае будут прерываться ограниченными во времени и пространстве периодами относительного мира, благополучия, равенства и свободы. Оптимизм тех, кто полагал, что прогресс уже достигнут, уступил место пессимизму тех, кто считал, что устойчивый прогресс недостижим. Единственно возможный смысл прогресса в наше время, по недавнему замечанию Клауса Оффе (см.: Offe 2010), состоит в избегании регресса.

Последующие рассуждения исходят из предположения о том, что мы не можем просто принять идею конца прогресса. Вместо этого нам следует использовать данный диагноз в качестве повода для переосмысления того, какой смысл нес в себе прогресс и какое значение он может иметь сегодня. Проект пересмотра идеи прогресса будет осуществлен в два боль-

ших этапа. Во-первых, мы попытаемся реконструировать идею прогресса, которая была унаследована от эпохи Просвещения, и противопоставить ее реальному историческому пути, по которому пошел прогресс. На этом этапе мы постараемся показать, что хотя предполагалось, что прогресс будет достигнут за счет автономии личности, в действительности он произошел за счет господства и сопротивления господству. Анализ короткого периода возрождения прогресса, начавшегося в середине XX в., даст возможность увидеть подтверждение этой идеи и сфокусирует внимание на трансформации, произошедшей в мире за последние пятьдесят лет, что станет предметом рассмотрения на втором этапе. Эта социально-политическая трансформация, о которой я ранее говорил как о разрушении организованной современности (см.: Wagner 1994), будет анализироваться как знаменующая конец (или практически конец) системы формально закрепленного господства. Эпоха, последовавшая за организованной современностью, часто характеризуется тенденциями глобализации и индивидуализации, а в нормативном смысле – все большей гегемонистской приверженностью правам человека и демократии. Это отражает упоминавшаяся выше точка зрения, согласно которой весь возможный прогресс уже достигнут. Критический анализ совокупности текущих социально-политических тенденций показывает, что конец формально закрепленного господства не означает конца истории, однако он требует выработки нового понимания возможного прогресса. Прогресс уже более не может быть достигнут через сопротивление господству – он достигается благодаря автономным коллективным действиям и критической интерпретации мира, в котором живет человек.

### **От автономии к господству: краткая история прогресса**

**Жесткая концепция прогресса.** В самом общем смысле прогресс означает улучшение условий жизни людей, в том числе принципов их совместного проживания. Прогресс всегда темпорален: он нацеливает на усовершенствование через сравнение во времени. Насколько мы можем судить, люди всегда проявляли интерес к прогрессу. Они наблюдали, как он происходит, пытались осмыслить его причины и условия, которые ему способствуют. Они также являлись свидетелями регресса и старались понять, как можно его избежать. Бросая взгляд на свое прошлое, они иногда отмечали улучшения в одних аспектах и упадок в других. По большей части они не рассчитывали, что улучшения будут постоянно приносить желаемый результат. Все, что может быть улучшено, может вновь ухудшиться, и вероятнее всего на определенном этапе именно так и случится.

Однако между семнадцатым и восемнадцатым столетиями в Европе произошло нечто особенное. Возникло ожидание всестороннего улучшения, улучшения во всех отношениях. И такое улучшение необязательно должно было быть временным. Оно могло быть устойчивым в долгосрочной перспективе, и каждая будущая ситуация могла предполагать последующее улучшение. Более того, такое всестороннее улучшение было не просто возможным; оно было весьма вероятным, поскольку у человека сформировалось

представление об условиях, в которых оно может произойти. Эта смена ожиданий и надежд и была изобретением прогресса. Как мы увидим, происходившее является зеркалом событий сегодняшних. Оно знаменовало момент начала гонки между зайцем и ежом. Мы не в состоянии пробежать ее снова, но для того, чтобы понять, где мы сейчас находимся, нам следует проанализировать ее ход.

К 1800 г. переосмысление идеи прогресса имело столь выраженные последствия, что историки начали говорить о «разрыве в общественном сознании», который непосредственным образом связан с Французской революцией как моментом прорыва новой концепции (см.: Koselleck, Reichardt 1988). Вероятно, наиболее ярко охарактеризовал возникновение новой идеи прогресса Райнхарт Козеллек – через отделение горизонта ожиданий от пространства опыта, то есть как появление широкого горизонта времени (см.: Koselleck 1979). То, что станет возможно в будущем, отныне не определялось опытом прошлого.

Новая концепция прогресса ознаменовала собой радикальный разрыв со всеми прежними взглядами на улучшение. Она связала нормативные достижения человечества с длительной и линейной перспективой и в то же время отделила эти достижения от непосредственного воздействия человеческой деятельности – в результате прогресс обрел свою собственную причинно-следственную связь. Эту концепцию можно назвать жесткой концепцией прогресса. Она предполагала радикальный характер позитивных преобразований человеческого бытия, которые ранее невозможно было даже представить. При этом она отделила нормативные ожидания в отношении будущего от реальных условий социальной жизни в Европе XVIII–XIX вв. – месте, где возникла данная концепция.

Если рассуждать в подобном русле, сразу становится понятно, что сегодня мы далеки от этой концепции прогресса. Мы больше не склонны придерживаться этой убежденности. Наши сомнения касаются как лежащей в ее основе философии истории нормативно-эволюционистской направленности, так и самого метода, предполагающего отрыв ожиданий от опыта. Но именно для того, чтобы лучше понять, есть ли связь между нашим опытом и прогрессом, необходимо рассмотреть исходные предпосылки, на которых была построена эта концепция.

Такое исследование быстро дает первый и весьма общий результат. Те, кого мы называем мыслителями эпохи Просвещения, разделяли одно базовое предположение, на котором строилось все остальное: они считали человека способным к автономии и наделенным разумом. Разум позволял человеку понять проблемы, с которыми он сталкивался, и найти способы их решения. Автономия давала возможность избрать адекватные средства и предпринять необходимые действия, что позволяло совершенствоваться в решении проблем. Более того, человек обладал памятью и мог учиться. Поэтому, вместо того чтобы решать одну и ту же проблему заново, каждое последующее поколение могло опираться на опыт предыдущих и приумножать его. Именно эта связь разума, автономии и способности к обучению создает условия для исторического прогресса человечества.

Если это так, то сразу же возникает еще один вопрос, почему до 1800 г. в истории человечества не существовало устойчивого прогресса. Но и на данный вопрос в то время был найден вразумительный ответ. Человек на тот момент находился лишь на стадии «освобождения от незрелости, причиненной самому себе» (Иммануил Кант). Он еще не осмеливался в полной мере использовать свою способность мыслить рационально; и довольно часто люди не были свободными, жили под различными формами господства. Но, как полагали многие, все должно было измениться, не в последнюю очередь благодаря просветительской мысли. Создание условий для автономной жизни и свободного мышления непременно приведет к прогрессу, и его уже невозможно будет остановить. Этот дополнительный момент не только позволяет понять, почему до 1800 г. прогресс не был столь значительным, но также проясняет причины, по которым ожидания относительно будущего прогресса в условиях автономии должны отделяться от прошлого опыта, приобретенного в условиях «незрелости».

До этого момента в статье было представлено карикатурное изображение мысли эпохи Просвещения. Едва ли можно найти мыслителя, который бы рассуждал в столь упрощенной форме. Но карикатура нужна именно для того, чтобы намеренно преувеличивать реальные черты, так обстоит дело и в этом случае. Другими словами, без сохранения определенной приверженности благотворному сочетанию свободы и разума было бы невозможно прийти к описанной выше жесткой концепции прогресса и отразить пришедший ей оптимизм.

**Ошибочное представление о прогрессе.** Однако в исторической реальности свобода была достигнута далеко не всеми. Скорее получилось так, что меньшинство людей, обладающих свободой, использовало свою автономию с целью господства над природой, другими людьми за пределами своего общества и несвободным большинством в своем собственном обществе. В ответ на это господство росло сопротивление со стороны несвободного большинства, со стороны всех других находившихся под данным господством, а также со стороны природы. Как следствие, в течение двух столетий доминирования жесткой концепции прогресс, как преобразование условий человеческой жизни, по преимуществу достигался не за счет взаимодействия между свободными людьми, а за счет господства и сопротивления господству<sup>1</sup>. В интеллектуальном плане европейский девятнадцатый век, безусловно, находился в тени Просвещения и его приверженности к автономии. Однако с точки зрения реальной практики и развития социальных институтов ситуация была иной. После Венского конгресса 1815 г. революционная активность на время прекратилась. Революции 1830, 1848 и 1871 гг. свидетельствовали о том, что воображаемая автономия

---

<sup>1</sup> Некоторые читатели могут увидеть здесь сходство с рассуждениями критических мыслителей, начиная с Маркса, и такая близость действительно существует. Однако Маркс и другие авторы критических теорий ошибались, утверждая вслед за мыслителями эпохи Просвещения, что эра полной автономии уже началась.

жива в Европе. Но их возникновение и подавление также демонстрировали, что европейские общества еще не были трансформированы с учетом этого воображаемого. Из-за такого расхождения между интеллектуальными и социально-политическими изменениями наблюдатели ошибочно рассматривали европейскую историю XIX в. как историю прогресса, основанного на автономии, что повлекло за собой преувеличение последствий самой автономии. Критические мыслители от Маркса до Вебера и Адорно, а в некотором смысле включая и Лиотара, полагали, что девятнадцатое столетие и начало XX в. стали свидетелями разрушения автономии в процессе ее воплощения. Реальная историческая практика, однако, определялась не всеобщей автономией, а скорее сочетанием роста автономии европейских элит с господством над природой и большинством европейского населения, а также колониальным господством. С точки зрения элиты, эта комбинация привела к прогрессу. С точки зрения критических мыслителей, все было не так. Но они не сумели распознать, в результате чего прогресс был сорван: не из-за последствий автономии как таковой, а из-за ограниченного использования автономии в сочетании с господством.

В некотором отношении порожденные таким господством и сопротивлением ему социально-политические преобразования действительно могли привести к прогрессу с точки зрения нормативных достижений на определенном этапе и в конкретных условиях: например, к научному прогрессу и материальному развитию, а также к эмансипации, вовлечению в социальную жизнь и признанию прав. Но такой прогресс достигался не благодаря тем основаниям, которые предполагались сторонниками жесткой концепции прогресса. Отсюда следует важный вывод о том, что угасание прогресса в недавнем прошлом не может объясняться недостатками идеи Просвещения о прогрессивном развитии свободы и разума. Как выразился Лиотар, нельзя даже сказать, что эта идея была опровергнута. Скорее условия для ее реализации не были достигнуты, и потому не было возможности узнать на собственном опыте, была ли она ошибочной или нет. В мире, построенном на принципе господства, мы не в состоянии понять, как люди могут использовать свой разум и каких результатов им это позволит достичь.

***Непродолжительное возвращение прогресса.*** Уже к середине XX в. сложилось мнение, что концепция прогресса практически отвергнута. В своих посмертно опубликованных «Тезисах о философии истории» 1940 г., Вальтер Беньямин, интерпретируя картину Пауля Клее, обращается к образу ангела истории. Ангел смотрит на прошлое и видит «одну сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам», но его движет к будущему, «к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу» бурей. «То, что мы называем прогрессом, и есть эта буря». В этой трактовке то, что на протяжении более чем столетия называлось прогрессом, рассматривается как явление, которое действительно обладает мощным потенциалом, как движущая сила истории, которая неподвластна человеку. Этот образ опирается на самую жесткую версию концепции прогресса, которую мы приводим в

начале статьи, – на понимание прогресса как движущей силы. Но теперь этот прогресс оказался движущей силой разрушения. Несколько лет спустя после крушения нацизма и окончания Второй мировой войны Карл Ясперс в работе «Смысл и назначение истории» создает другой образ со схожей целью: «Мировую историю можно воспринимать как хаотическое скопление случайных событий – как беспорядочное нагромождение, как водоворот пучины. Он все усиливается, одно завихрение переходит в другое, одно бедствие сменяется другим; мелькают на мгновение просветы счастья, острова, которые поток временно пощадил, но вскоре и они скрываются под водой» (Jaspers 1953: 270; Ясперс 1991: 275)<sup>1</sup>.

Эти авторы пытаются осмыслить катастрофическую первую половину двадцатого столетия и приходят к выводу, что надежды на прогресс нет или (что еще хуже) что направление истории – это направление все большего разрушения, как говорит Беньямин. Однако в свете наших предшествующих рассуждений мы можем рассматривать такие трактовки философии истории гораздо более контекстуально. Они возвещают не о конце прогресса в целом, а о конце европейского господства, которое породило особый вид прогресса. Это контекстуальное прочтение находит подтверждение во втором, сравнительном наблюдении.

Очевидно, не слишком затронутая этими европейскими заботами концепция прогресса в своей довольно жесткой форме возникла вновь уже в другом месте, в Северной Америке, отражая новую гегемонию в мире после окончания Второй мировой войны. Оценивая ситуацию с позиции победы, а не поражения, американские авторы часто выражали оптимизм в отношении поиска решения все еще сохранявшихся проблем. В академическом плане этот оптимизм нашел свое наиболее полное и яркое выражение в получившей широкую известность благодаря работам Толкотта Парсонса социологии модернизации, которая представляет собой философию истории, привязанную к функционалистской теории современного общества.

Это представление зиждилось на приверженности принципам свободы и разума в духе Просвещения и вместе с тем способствовало развитию еще одной их интерпретации. Оно исходило из того, что прогресс осуществим на основе институционализации автономии в функционально дифференцированном современном обществе. Предполагалось, что, с одной стороны, общества могут опираться на автономию и инициативность без риска непредсказуемости, поскольку свобода реализуется в четко определенных институциональных рамках, а с другой стороны, что такая инициативность в этих рамках будет обеспечивать дальнейшее совершенствование за счет экономического роста и научного прогресса. Считалось, что такое состояние развития уже было достигнуто рядом обществ, в частности США, также к нему вплотную приблизились некоторые западноевропейские страны, при этом так называемые страны третьего мира вступили на более длинный, но не менее прогрессивный путь «модернизации и развития». Таким

---

<sup>1</sup> Здесь и далее ссылки на цитаты, которые приводятся по русским переводам, представлены комплексно. – *Пер.*



образом, европейское уныние середины века преодолевалось американским оптимизмом 1960-х гг. Даже самую главную проблему с точки зрения США – наличие советского социализма – предполагалось решить путем процесса постепенной конвергенции, обусловленного функциональными требованиями. Но этот энтузиазм оказался недолгим. Протестные движения 1960-х гг. как внутри страны, так и на международной арене поставили под сомнение идею о том, что институциональное развитие достигло того уровня, при котором возможен планомерный прогресс. В свою очередь, неспособность этих движений добиться серьезных политических изменений на Западе, а также возобновление экономических кризисов привели к провозглашению конца эпохи всех больших нарративов. Историческое развитие с 1789 по 1940 г. словно бы повторилось в ускоренном темпе в период между 1945 и 1979 гг.

Таким образом, чтобы понять, что же случилось с прогрессом, нам необходимо более пристально взглянуть на недавнее прошлое. Если точнее, то нам следует задаться тремя вопросами о второй половине прошедшего столетия. Во-первых, нужно переосмыслить социально-политическую конфигурацию, сложившуюся в период с окончания Второй мировой войны по середину 1970-х гг., известный как «славное тридцатилетие» (*фр.* Les Trente Glorieuses), учитывая, что она была ошибочно воспринята как функционально эффективная институционализация свободы. Во-вторых, до сих пор остается открытым вопрос, почему десятилетия бурной активности общественных движений (1960–1980-е гг.), часто называвших себя прогрессивными, в итоге привели к угасанию прогресса. И, в-третьих, это угасание прогресса само по себе нуждается в более тщательном рассмотрении. Подобно тому как возвращение прогресса после Второй мировой войны было кратковременным, поскольку основывалось на ошибочном социально-политическом диагнозе, так и исчезновение прогресса из политической повестки дня может быть вызвано неправильной трактовкой недавних событий и также может быть недолгим.

### **От формально закрепленного господства к автономии и критической интерпретации: переход к новой концепции прогресса**

**Прогресс в пределах границ: организованная современность и ее недостатки.** Глобальная социально-политическая конструкция, сложившаяся к 1960 г., считалась достаточно крепкой, что нашло отражение в распространенном в то время образе трех миров: первый мир либерально-демократического капитализма, второй мир социализма советского образца и третий мир развивающихся стран. Этот образ был социологически интерпретирован с точки зрения первого мира как достигшего статуса «современного общества»; второй мир представлял собой намеренное и спланированное отклонение, но с тенденцией к постепенному объединению с первым миром; в то время как третий мир все еще нуждался в «модернизации и развитии». Эти миры, в свою очередь, состояли из обществ как отдельных структурных элементов,

каждый из которых, согласно утвердившемуся представлению, имел четко очерченные границы и государство как центральный институт, обладавший реальной властью контролировать границы и организовывать социальную жизнь внутри границ по единым правилам.

Образ упорядоченности и контроля – при очевидном несоответствии – распространялся и на надежды в отношении прогресса. Ожидалось, что устойчивость социальных институтов сделает изменения предсказуемыми и позволит пользоваться благами прогресса при отсутствии рисков в условиях абсолютно открытой перспективы будущего. Чтобы понять эту двойственную оценку будущего как одновременно открытого и уже хорошо знакомого, важно выделить основные аспекты прогресса по состоянию на 1960 г. Предполагалось, что *прогресс в области развития знаний* будет непрерывно приносить пользу обществу, причем заполнение последних пробелов в знаниях позволит исключить любые неприятные сюрпризы в ходе дальнейшего научного поиска<sup>1</sup>. *Экономический прогресс* тоже должен был стать предсказуемым и прогнозируемым.

Кейнсианское управление спросом, социалистическое планирование и развитие национальной промышленной экономики на основе политики импортозамещения являлись применявшимися в каждом из трех миров стратегиями, с помощью которых можно было достичь экономического роста без циклических спадов, присущих развитию капитализма на раннем этапе. Использование таких методов управления обеспечивало не только устойчивый, но и долгосрочный экономический рост, создавая тем самым материальную основу для достижения социального и политического прогресса.

В то время как эпистемологический и экономический прогресс должен был продолжаться в контролируемом режиме, социальный и политический прогресс считался завершенным и устоявшимся. В ходе *социального прогресса* основное внимание уделялось достижению инклюзии. Ее предполагалось достичь путем развития государства всеобщего благосостояния, где все члены общества будут защищены от любых возможных рисков «от колыбели до могилы», как сказал в 1943 г. Уинстон Черчилль<sup>2</sup>. В Европе, как в Западной, так и в социалистической, социальная инклюзия в различных сферах, пусть и разными способами, была в целом достигнута к 1960-м гг. В США она была заявлена в качестве главной цели «войны с бедностью» – ключевого пункта программы президента Джонсона «Великое общество». В третьем мире аналогичный социальный прогресс в лучшем случае просматривался в далекой

---

<sup>1</sup> Передовые проекты, которые в то время овладели научно-техническим воображением: сверхзвуковые полеты, изучение космического пространства с помощью специальных пилотируемых аппаратов, развитие ядерной энергетики, были либо приостановлены из-за неоправданных трудностей в их реализации и, как следствие, их нецелесообразности, либо поставлены под серьезное сомнение из-за сопутствующих рисков.

<sup>2</sup> П. Вагнер пишет, что эти слова были сказаны в 1943 г. Уинстоном Черчиллем, однако впервые они прозвучали в 1942 г. в «Докладе о социальном страховании и смежных услугах» («Report on Social Insurance and Allied Services») английского экономиста Уильяма Бевеиджа. – *Пер.*

перспективе. Социальная инклюзия в обществах первого мира опиралась на противопоставление странам третьего мира. Более того, социальный прогресс благодаря политике государства всеобщего благосостояния предполагал стандартизацию жизненных ситуаций и – вместе с ориентированной на мужской труд моделью экономики полной занятости – стандартизацию жизненных сценариев. Как видим, индивидуализация не являлась в то время ключевым условием социального прогресса. *Политический прогресс* (при условии узкого взгляда на него) мыслился схожим образом, как уже достигнутый в некоторых частях мира и потенциально достижимый во всех остальных. Свидетельством прогресса служило свободное и равное «конвенциональное» политическое участие, которое обеспечивало избрание властей, несущих определенную степень ответственности перед гражданами и одновременно способных разрабатывать и реализовывать политические программы. Такая система была создана в первом мире, получила особую форму выражения во втором и должна была быть установлена с помощью политической модернизации в третьем. Узкий взгляд на прогресс предполагал, что существующие государства должны стать проводниками политического прогресса и что внутри них должен быть достигнут необходимый баланс между участием в коллективном самоопределении и реальным соблюдением общих принципов, причем во всех спорных ситуациях предпочтение должно отдаваться последнему.

Эта краткая характеристика различных параметров прогресса позволяет говорить о том, что его двойственное видение в организованной современности после Второй мировой войны как одновременно открытого и предсказуемого процесса отражало новое соотношение между опытом и ожиданиями. Опыт первой половины XX в., в частности, показал, что широкий горизонт ожиданий допускал вероятность нежелательных и даже катастрофических последствий. Этот опыт продемонстрировал пределы возможностей прогресса вследствие господства, в том числе обусловленные риском возникновения сопротивления господству, которое может привести к нежелательным результатам. Выводом из этого опыта стало сужение горизонта ожиданий, который тем не менее оставался открытым благодаря институтам организованной современности. Или, другими словами, данный опыт был попыткой выбрать из широкого спектра исторически возникших возможностей ограниченное число тех, что представлялись одновременно функционально жизнеспособными и нормативно желательными.

Если оглянуться назад, становится ясно, что этот выбор, явившийся результатом решения политической и экономической элит в ранний послевоенный период, принес кратковременный отрезок стабильности из-за двойственного восприятия прогресса, которое вело к противоречивым выводам. С одной стороны, представление о прогрессе, сформированное двумя столетиями ранее, теперь должно было выступать ориентиром для социально-политической практики. В публичных дискуссиях существующая социально-политическая конструкция рассматривалась уже не как режим власти, равный другим в истории, а как социально-политический порядок, нуждающийся в нормативном обосновании. Таким образом, основанные

на этом представлении требования – индивидуальной свободы, коллективного самоопределения, социальной справедливости – не могли быть просто отброшены. Они должны были быть так или иначе удовлетворены, в противном случае требование перемен усиливалось.

С другой стороны, особая форма, которую принял этот социально-политический порядок, возникла в конкретных исторических обстоятельствах. В этом ситуативном контексте США оказались наиболее подходящим местом для утверждения нового взгляда на прогресс по ряду причин. Они не являлись непосредственными виновниками бедствий и катастроф первой половины XX в. Они превратились в экономически мощную державу и перестроили систему экономики на принципах капитализма массового потребления, тем самым успешно решив вопрос удовлетворения материальных нужд населения. У них сложилась репутация общества с более развитой системой политического участия, чем в европейских странах, даже несмотря на порабощение коренного населения и дискриминацию афроамериканцев, – тем самым они определяли направление политического прогресса. Кроме того, к тому моменту они играли менее значительную роль в системе колониального господства, чем Европа, позиционируя себя скорее как одно из первых постколониальных обществ.

В более широком смысле возникшие исторические обстоятельства предполагали, что выводы, извлеченные из предшествующего опыта, должны быть реализованы в условиях существующих государственных границ, экономических систем, сложившихся гендерных отношений и системы колониального господства. Эти ситуативные факторы, с одной стороны, уже являлись частью реальности и в этом смысле были неотъемлемой составляющей процесса формирования организованной современности, с другой стороны, они не имели обоснования как такового, и часто его было трудно найти. Эти факторы способствовали формированию институтов, которые должны были сделать дальнейшее развитие управляемым и контролируемым, но одновременно они могли стать препятствием на пути желаемого прогресса и, следовательно, превратиться в объект критики и протеста.

Эта характеристика дает ключ к пониманию процесса распада организованной современности, который стремительно набирал обороты начиная с 1960-х гг. В странах так называемого третьего мира движения за национальное освобождение призывали к деколонизации и коллективному самоопределению, и эта борьба к 1960 г. достигла своего апогея. В так называемом первом мире 1968 г. стал кульминацией выступлений рабочих и студентов, в которых нередко видят соединение политической и культурной революций, где первая требовала более активного участия в политической жизни, а вторая – расширения возможностей для самореализации личности. В так называемом втором мире протестные движения призывали как к расширению пространства для индивидуального самовыражения, так и к созданию новых, не связанных с господствующей концепцией исторического материализма форм коллективного самоопределения, и в частности требовали самоопределения в качестве политических для тех групп, которые не были признаны таковыми. После событий 1968 г. в политическую

повестку решительно и настойчиво вернулись вопросы, вновь поднятые феминистским и экологическим движениями, призывавшими к равенству, признанию различий и критическому осмыслению индустриальных преобразований Земли. В конце XX в. ответом на последствия перестройки глобальной финансово-экономической системы стало возникновение новых движений бедных и отчужденных, которые требовали социальной справедливости и интеграции. Там, где демократия была уничтожена военными режимами, эти движения вливались в движения за восстановление свободы и демократии. Там же, где социальное отчуждение и притеснение носили выраженный этнический/расовый характер, борьба разворачивалась вокруг политических и культурных требований коллективного самоопределения.

Большинство этих движений можно назвать прогрессивными, поскольку они выступали за социальный и политический прогресс, утверждая в сознании представление о таком прогрессе и осуждая ограничения, которые препятствовали его ходу. Некоторые из этих движений, помимо прочего, призывали к переосмыслению прогресса, критикуя форму, в которой он исторически мыслился и должен был быть достигнут. К примеру, критики эпистемико-экономического прогресса указывали на усиливающееся несоответствие, а нередко и противоречие между реальными эпистемологическими и экономическими практиками, с одной стороны, и требованиями хороших решений эпистемологических и экономических проблем – с другой. Такие эксперты зачастую ставили под сомнение сам механизм достижения прогресса в этих областях и то, как он концептуально утверждался в историческом контексте. Ряд критиков социального и политического прогресса, в свою очередь, призывали к пересмотру не принципов, а конкретных условий и обстоятельств, в которых утвердилось нынешнее представление о прогрессе. Это относится к движениям, ставящим под сомнение существующие государственные образования, их границы и считающим эти границы неподходящими для осуществления коллективного самоопределения. Также это характерно для движений, призывающих к исправлению исторической несправедливости. Несмотря на то, что их призывы можно трактовать как призывы к социальному прогрессу, сторонники этих движений настаивают на том, что равная свобода сегодня – это недостаточное условие для достижения прогресса.

***Протест и прогресс в эпоху завершения формально закрепленного господства.*** Если 1960-е, 1970-е и отчасти более поздние десятилетия были ознаменованы ростом протестных движений и если мы вправе считать, что эти движения были устремлены к прогрессу и при этом были весьма успешными, почему же тогда прогресс фактически сошел на нет именно в этот период? Чтобы ответить на этот вопрос более обстоятельно, необходимо сделать несколько общих концептуальных и исторических замечаний, а затем рассмотреть их в свете недавних социально-политических трансформаций – процесса деструктуризации организованной современности второго послевоенного периода.

Социально-политические изменения часто происходят в результате переосмысления концепций, которые лежат в основе общественного самосознания (см.: Wagner 2012: ch. 3). Таким образом, прогресс набирает силу благодаря новым подходам, которые возникают при изучении актуальных проблем и поиске новых способов их решения. Социальный и политический прогресс, в частности, движим протестом против неудовлетворительных ситуаций: ситуаций, в которых проблемы решаются способами, которым не хватает нормативного обоснования и/или функциональной эффективности. Как уже отмечалось выше, на протяжении девятнадцатого и большей части двадцатого столетия господство было основным двигателем прогресса, тогда как критика господства служила важнейшим инструментом переосмысления прогресса. Принцип равной свободы вопреки постулатам эпохи Просвещения не был исторически исходной точкой движения прогресса. Скорее он стал главной составляющей социально-политического образа прогресса, определяя его цель, которую еще предстояло достичь. Вместо того чтобы реально регулировать сложившиеся практики, этот образ стимулировал сопротивление им. Преобладающие политические практики в Европе, а затем и на Западе в целом способствовали утверждению прогресса благодаря господству: над природой, над другими обществами и над значительной частью населения в своих собственных странах.

До Второй мировой войны эти практики господства имели достаточно четкое обоснование, хотя и вызывали бурные дискуссии. Однако в послевоенный период мобилизация общества на войну и оправдание самой войны в качестве инструмента борьбы против нелегитимных режимов изменили ситуацию (Halperin 2016)<sup>1</sup>. Организованная современность послевоенного периода предполагала приведение сложившихся практик в соответствие с социально-политическим воображаемым. Общества первого и второго мира демонстрировали приверженность коллективному самоопределению, в социальной и политической сфере стремились к инклюзивности и эгалитарности, пусть даже по-разному их понимая. Право на коллективное самоопределение колонизированных обществ находило все большую поддержку, хотя часто оно являлось результатом колониальных и гражданских войн и признавалось колониальными державами в различных формах и на разных этапах.

Проведем параллель между прогрессивными движениями, которые в итоге привели к разрушению организованной современности, и движениями более раннего периода. Такое сопоставление позволяет отчетливо увидеть три их составляющие. Во-первых, наиболее похожими на старые протесты были движения, которые ставили целью устранение следов формально закрепленного господства. В этом качестве к 1990-м гг. они оказались чрезвычайно успешными. Антиколониальное движение в значительной степени достигло своей цели с падением последней европейской колониальной империи (португальской) в 1974 г., а также с отменой апартеида в начале

---

<sup>1</sup> Данная статья С. Гальперин публикуется в этом выпуске. – *Пер.*

1990-х гг. Больше не могли существовать диктатуры и авторитарные режимы. Феминистское движение к 1970-м гг. (а в социалистических странах даже раньше) добилось обеспечения полного юридического равенства для женщин во многих странах за исключением большинства исламских государств, не считая Турции. Движения за гражданские права в их широком понимании боролись с различными видами открытой дискриминацией, в частности касающейся этнических и языковых меньшинств, сексуальной ориентации, расы. В результате многие дискриминационные нормы были исключены из юридических документов, но тем не менее продолжали применяться на практике.

Во-вторых, экологическое движение стремилось положить конец жестокой эксплуатации природы и вернуть понятие экономического прогресса к фундаментальному пониманию материальных потребностей человека. В известном смысле это был протест против господства, точнее господства над природой, но не протест против господства одних групп людей над другими. Современный опыт такого протеста неоднозначен. Он значительно преуспел в том, что касается включения экологической проблемы в общественную и политическую повестку дня. Деятельность, направленная на изменение природной среды, сегодня нуждается в обосновании в гораздо большей степени, нежели полвека назад, и часто требует обязательной проверки и одобрения на институциональном уровне. Однако в то же время масштабы преобразований природы существенно увеличились: индустриализация многих развивающихся экономик значительно превосходит темпы деиндустриализации развитых экономик; а технологии и способы добычи ресурсов все значительнее воздействуют на природу. В настоящее время в дискуссиях об изменении климата преобладает мнение о том, что процесс разрушения идет быстрее, чем попытки остановить его или обратить этот процесс вспять.

В-третьих, некоторые протестные движения были нацелены на пересмотр и новую интерпретацию приоритетов социального и политического прогресса. В обществах, где социальная инклюзия была в целом достигнута, это привело к унификации жизненных стратегий, вследствие чего основной проблемой стала индивидуализация. В тех обществах, где государство имело приоритет над реальной практикой коллективного самоопределения, выдвигались требования об активизации политического участия. Этот протест формировал новое отношение к прогрессу: он больше не ставил целью преодоление формально закрепленного господства, а стремился пересмотреть социальную и политическую конфигурацию в содержательном плане. Он также<sup>1</sup> добился успеха в одном, но оказался гораздо менее успешен в другом. Этот протест преуспел в разрушении доминирующего социально-политического самопонимания в рамках различных типов организованной современности. Но при этом он не смог выработать новое гегемонистское самопонимание, которое нормативно превосходило предшествующее и, таким образом, символизировало прогресс.

---

<sup>1</sup> Как и экологическое движение. – *Пер.*

Итак, прогрессивные движения, которые в наибольшей степени направились на преодоление формально закрепленного господства движения прошлого, оказались преимущественно успешными. Их успех объясняет ключевые факторы угасания прогресса. Прогресс, достигаемый благодаря господству, все больше сдерживался успешным сопротивлением этому господству. И чем больше сопротивление господству знаменовало прогресс, приближаясь к моменту окончательного разрушения самой системы формально закрепленного господства, тем менее важным этот вид прогресса виделся в будущем.

В связи с тем, что именно этот вид прогресса находился в центре внимания критической мысли, возникало двойственное представление об исчерпанности/завершенности исторического прогресса. В частности, в 1990-е гг. было широко распространено мнение о том, что критика утратила свою силу в процессе текущих социально-политических трансформаций, и было трудно представить, каким образом можно восстановить ее роль. В то же время в критических дискуссиях этот очевидный успех едва ли воспринимался как успех, чему есть веские причины: возникали новые проблемы и одновременно давали о себе знать старые – экологический кризис и социальная несправедливость, при этом политический потенциал для их решения снизился, причем резко.

В данном отношении показателен пример Южной Африки. При апартеиде в ЮАР велась бурная дискуссия о связи между расовым господством и особой формой южноафриканского капитализма. В это же время в стране возникло мощное общественно-политическое движение за национальное освобождение, главной задачей которого было прекращение господства и предоставление равной свободы и равных прав всем южноафриканцам. Это господство было мишенью критики, и его уничтожение должно было означать достижение прогресса. С отменой апартеида данная цель была достигнута. В настоящий момент южноафриканское общество сталкивается с многочисленными проблемами, большинство из которых можно отнести к наследию колониального господства: ярко выраженные структуры социального неравенства, обусловленные сегрегацией и несправедливостью апартеида; экономика, ориентированная на добычу ресурсов для мирового рынка, а не на удовлетворение нужд населения ЮАР; система государственного управления, созданная для того, чтобы обеспечивать интересы меньшинства, но неспособная обеспечить потребности большинства в сфере образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и т.д. В то же время в обществе сформировалось политическое большинство, приверженное программе социальных преобразований и нацеленное на решение этих проблем. Однако их общественные и научные обсуждения сегодня слабы и дезориентированы, кроме того, наблюдается неопределенность представления о том, какой прогресс возможен и как его достичь, а также серьезные сомнения относительно того, возможен ли вообще какой-либо существенный прогресс. Южная Африка не является исключением. Скорее наоборот, она является показательным примером из-за тех радикальных преобразований, которые недавно претерпела, перейдя от системы жесткого



формально закрепленного господства к приверженности принципам личной и коллективной автономии. Это свидетельствует о необходимости более обстоятельно разобраться в том, что представляет собой прогресс после упразднения большинства институционально закрепленных форм господства. Важно понять, как трансформировать широко распространенную идею саморазвивающегося прогресса, возникающую в результате сочетания свободы и разума эпохи Просвещения после упразднения системы формально закрепленного господства, в представление о прогрессе как о проблеме коллективного самоопределения и коллективного участия.

Далее в статье я постараюсь показать, что было бы ошибочно игнорировать или преуменьшать огромный успех, достигнутый в преодолении формально закрепленного господства, – ошибочно с точки зрения конкретных фактов, поскольку очевидны реальные достижения, но также ошибочно и с политической точки зрения, потому что такой взгляд ведет к недооценке нормативных факторов в истории. Также я хочу подчеркнуть, что произошедший регресс был частью той же социально-политической трансформации, которая привела (или почти привела) к концу системы формально закрепленного господства, и что он непосредственным образом связан с протестными движениями, целью которых был прогресс. Другими словами, критика и протест создают новые интерпретации, которые стремятся найти более эффективные нормативные решения, но они не в состоянии контролировать эти интерпретации и потому в конечном итоге приводят к регрессу, последствия которого могут перевесить прогрессивные достижения.

***Ловушка гегемонистского дискурса: стирание пространственных и временных границ.*** Протесты, которые способствовали разрушению норм организованной современности, проходили в форме восстания против навязанных ограничений на нормативном уровне либо в форме недовольства последствиями, проистекающими из осознания функциональной ущербности этих ограничений, или же – в некоторых случаях – в виде сочетания обеих форм критики. Но они предлагали лишь слабый образ конструктивного переосмысления современности. С идеей прекращения формально закрепленного господства были связаны ключевые составляющие этого образа: общая идея равных индивидуальных прав, как, например, в женском движении, движении за гражданские права в США или борьбе против апартеида; идея всеобщего коллективного самоопределения или идея демократии, проявившаяся в освобождении от колониального правления (включая конкретный пример Южной Африки), от авторитарного правления, как в Южной Европе, Восточной Азии и Латинской Америке; а также идеи свободы от конкретных ограничений – идеи коммерческих свобод, свободы СМИ, свободы передвижения и свободы самореализации.

В таком контексте большинство произошедших социально-политических изменений можно описать в терминах нормативных достижений прогресса: признания, свободы, равенства. Именно здесь следует искать корень возникших по этому поводу дискуссий. Взглянув на социально-политическую трансформацию в целом, сделаем ряд оговорок. При оценке

недавних изменений с точки зрения преодоления системы формально закрепленного господства можно упустить из виду тот факт, что параллельно с разрушением этой системы шло уничтожение и тех институциональных структур организованной современности, которые, по сути, не являлись проводниками формального господства. Нормативная оценка этих процессов, впрочем, не так однозначна. Существенно снизилась способность государств осуществлять государственную деятельность. В частности, оказался утрачен важнейший элемент организованной современности – управление национальными экономиками. Как следствие, коммерческие и финансовые процессы все чаще выходили из-под какого-либо контроля. В более широком смысле институционализированные коллективные действия были делегитимизированы в ходе концептуального перехода от идеи «правительства» к идее «управления». Наряду с этим, институциональные механизмы, обеспечивавшие коллективное самоопределение, были ослаблены, отчасти намеренно в интересах наднационального или глобального сотрудничества, отчасти из-за предполагаемого исключения социально-политических процессов из сферы внимания и контроля политических структур.

Каждая масштабная социально-политическая трансформация влечет за собой демонтаж существующих институтов. Но этот демонтаж, как правило, сопровождается строительством новых институтов или возникновением новых функций и значений у уже существующих институциональных структур. С точки зрения роста общественного участия и политики признания трансформация европейских обществ в период с середины девятнадцатого до начала двадцатого столетия является ярким примером строительства общественных институтов, которые были призваны решать проблемы, порожденные либеральной современностью Европы. В отличие от этого, борьба с организованной современностью в конце XX в. нередко делала своей мишенью репрессивный, эксплуатирующий или отчуждающий характер существующих структур и, как следствие, была в первую очередь нацелена на их деинституционализацию. В качестве непреднамеренного побочного эффекта такая установка привела к ослаблению способности к коллективным действиям: с одной стороны, из-за ослабления конкретных существующих институтов, а с другой – из-за того, что институциональные преобразования в целом делегитимизируются во имя некой универсальной идеи равной индивидуальной и коллективной свободы.

На определенном этапе процесса выхода из организованной современности в 1980-х – начале 1990-х гг. этот нечеткий образ продолжающегося переосмысления модерности приобрел более твердые контуры. В этот период большинство публичных интеллектуалов полагали, что всеобщая приверженность индивидуальной свободе и коллективному самоопределению должна беспрепятственно получить глобальное воплощение. Считалось, что этот процесс будет сопровождаться и подкрепляться идеей экономической свободы, согласно которой любые факторы, сдерживающие экономическую деятельность, не только ограничивают свободу, но и оказывают неблагоприятное влияние на экономическую результативность, а поэтому должны быть устранены.

Эти политико-философские идеи воплотились в политическом дискурсе о «правах человека и демократии», а также в экономическом дискурсе о необходимости возвращения рыночных свобод и свободной торговли, причем оба они стали доминирующими. Более того, эти дискурсы получили частичное институциональное закрепление в различных формах: в отказе от норм внутреннего экономического регулирования; в ослаблении международных барьеров для экономического обмена; в утверждении принципа «ответственности за защиту» в международном праве в противовес принципу государственного суверенитета; в элементах интернационализации уголовного права; в тенденции отождествлять общественные протестные движения с формами коллективного самоопределения и др.

Но вернемся к зайцу и ежу. В начале гонки еж назвал своим идеалом мир свободных человеческих существ, обеспечивающих устойчивый прогресс благодаря своему взаимодействию, и заяц принялся бежать. Когда намного позже супруга ежа сообщила измученному зайцу, что гонка закончилась и он проиграл, заяц не мог поверить, что это правда, но при этом был не в состоянии объяснить почему. Он не смог различить двух ежей. Именно с такой проблемой сталкивается сегодня критическое мышление в отношении прогресса. В чем разница между обещанием эмансипации и равной свободы более двух веков назад и широко распространенной институционализацией равной свободы сегодня?

Другими словами, вопрос заключается в том, что не так, если вообще что-то не так, с дискурсом «прав человека и демократии» и идеей, что любое снятие ограничений ведет к увеличению свободы. Проблема состоит в том, что в этих понятиях, очевидно, есть что-то верное, они указывают на обоснованную нормативную проблему, однако при этом гораздо сложнее определить, что в них неверно. Приверженность свободе, правам человека и демократии является нормативно неоспоримой. Отказ от ограничений человеческих действий и контроля над людьми представляется самоочевидным. Однако именно в этом и кроется ловушка гегемонистского дискурса. С одной стороны, свобода и демократия – это базовые нормативные ценности, которые необходимо принять. И в этом смысле они действительно не нуждаются в обосновании. С другой стороны, они предстают непревзойденным образцом и ориентиром во всевозможных политических дискуссиях, исключая любые рассуждения, которые не соответствуют этому образцу. Но при всей своей значимости и важности эти концепции не являются достаточным основанием для того, чтобы определять направление политических дискуссий как таковое. Скорее они ставят дополнительные вопросы, на которые необходимо ответить, задействуя при этом и другие средства. Чтобы не попасть в эту ловушку (или, точнее, чтобы выбраться из нее, поскольку большая часть текущих дискуссий – это ловушка), следует вспомнить проверенную временем истину о том, что любые универсальные оценочные понятия имеют тенденцию становиться предметом дискуссии. Они могут быть верными в самом широком смысле, но они не подлежат практическому применению в том простом смысле, что из этих концепций можно вывести конкретные действия и отождествить их с шагами по их реализации.

Историю этих понятий характеризуют любопытные трансформации. Как и идея неотъемлемых прав и народного суверенитета, они возникли вместе с Просвещением и вдохновили революции конца XVIII в. Однако политические дискуссии, возникшие после революций, по большей части уделяли внимание критике концепции абстрактной свободы и сложившихся представлений о конституционном строе современных государств. По сути, социально-политические преобразования конца XIX – начала XX в. повторно ввели в оборот понятия общественных связей и коллективных обязательств. Сегодняшние дискуссии могут вполне эффективно использовать опыт концептуальной критики и преобразовательной практики более раннего периода. Однако простого анализа этих дебатов будет недостаточно, если они не будут привязаны к социально-политическим преобразованиям нашего времени. Именно с этой целью мы попытались реконструировать доминирующее самопонимание различных типов организованной современности после Второй мировой войны, а также ту динамику, которая в итоге привела к их деструктуризации. Публичную политическую философию, которая позднее ненадолго заняла доминирующие позиции, следует интерпретировать как попытку осуществить спонтанную концептуальную рефлексию этой деструктуризации. В рамках социологических исследований сформировалась идея о том, что любые коллективные институты различных форм – государство, нация, класс, общество – постепенно разрушаются под воздействием двух доминирующих тенденций: глобализации и индивидуализации. Подобно социологической формуле глобализации и индивидуализации, общественно-политический дискурс утверждал, что между отдельным человеком и земным шаром не было и не должно быть никакой связи. Любое социальное явление, стоящее между ними, рассматривалось как потенциальный ограничитель свободы. Важно подчеркнуть, что наметилась тенденция к переосмыслению понятия демократии, которое предполагает наличие определенной общности, принимающей решение и, таким образом, неизбежно занимающей промежуточное положение между отдельным индивидом и миром. Вместо того чтобы отсылать к конкретной исторически сложившейся общности, процессы самоопределения, с одной стороны, ассоциировались с социальными движениями без какой-либо институциональной привязки, а с другой – они проецировались на глобальный уровень в качестве воплощения грядущей космополитической демократии. Эту концептуальную тенденцию можно охарактеризовать как *стирание пространства*. Аналогичную тенденцию на последующем этапе мы можем определить как *стирание времени*. Отдельные индивиды рассматриваются как свободные и равные, а если точнее, как равно свободные. Таким образом, их биографии и жизненный опыт больше не воспринимаются в качестве факторов, обеспечивающих им определенное положение в обществе, исходя из которого они говорят и действуют. В свою очередь, политические порядки превращаются в объединения таких индивидов, которые заключают друг с другом общественный договор, лишенный какого-либо конкретно-исторического контекста.

Это образ утопии. Прогресс в данном случае – это преодоление зависимости от пространства и времени, в которых родился человек. Исторически этот образ можно обнаружить в теориях общественного договора от Джона Локка до Жан-Жака Руссо. Но у этих авторов, как и у их предшественника Томаса Гоббса, данные теории представляли собой интеллектуальные эксперименты с целью определить, на каких основах в принципе возможно мирное совместное существование людей (для Гоббса), а также последующее улучшение условий человеческой жизни. В конце XX в. этот образ, напротив, знаменовал грядущие возможности. Он предполагал прогресс, который уже маячил на горизонте. Идея освобождения тогда часто поддерживалась критической мыслью, которая – в целом совершенно справедливо – не исходит «из образа того, чем мы являемся, делать вывод о том, что нам невозможно сделать или познать, но она в случайности, которая заставила нас быть тем, что мы есть», она «раскрывает возможность больше не быть тем, что мы есть, не делать то, что мы делаем, или не мыслить то, что мы мыслим» (Foucault 1984: 46; Фуко 2002: 353).

Такая критика с 1960-х гг. стала главной движущей силой процесса разрушения организованной современности, как, например, в борьбе против колониального господства или в событиях 1968-го. Но она также слишком долго и слишком часто прибегала к «заверениям или пустым мечтам о свободе», что привело к ошибочным «проектам, притязующим на то, чтобы быть радикальными и глобальными» (Foucault 1984: 46; Фуко 2002: 353). Эти проекты направлены на стирание времени и пространства. Они воплощаются в различных политических формах: от идеи индивидуальных предприимчивых «я», связанных друг с другом посредством саморегулирующихся рынков, идеи индивидуальных прав человека, в которой отсутствует представление об институте, гарантирующем эти права, до идеи космополитической демократии, лишенной представления о формах политической коммуникации.

Что же тогда следует делать? По словам цитированного выше Фуко, «эта работа, совершаемая в предельной зоне нас самих, должна, с одной стороны, открыть область исторических изысканий, а с другой же – подвергнуться испытанию реальностью и актуальным моментом для того, чтобы улавливать точки, где изменение возможно и желательно, и одновременно определять точную форму, которую надлежит придать этому изменению» (Foucault 1984: 46; Фуко 2002: 353). Без исторического анализа и критической оценки реальности абстрактные рассуждения о свободе и ее последствиях (в частности, о ликвидации границ и забвения предшествующего опыта) вместо того, чтобы оказывать помощь, становятся нашими противниками в борьбе за осмысление настоящего и определение того прогресса, который и возможен, и желателен.

### **Перспективы: подготовка теста на реальность для определения будущего прогресса**

Все написанное в этой статье можно рассматривать как вклад в историческое и концептуальное исследование, о необходимости которого было

сказано выше. Следует сделать последний шаг – предложить хотя бы некоторые параметры для анализа сегодняшней ситуации на предмет возможности и желаемого прогресса. В настоящее время утопический образ прогресса, выходящего за границы исторического времени и жизненного пространства, все еще существует, но он в значительной степени утратил достоверность и убедительность. Это обусловлено явлениями, которые интерпретируются как признаки его несовершенства, в частности чередой экономических кризисов по всему миру; растущим неприятием несправедливости прошлого, которое продолжает оказывать влияние на настоящее; возросшей обеспокоенностью последствиями антропогенного изменения климата; региональными кризисами демократии; отсутствием критериев оценки международных конфликтов. В свете этих обстоятельств сегодня предпринимаются попытки реконструкции, осознанно исходящие из фактора социального пространства и признающие историчность социальной жизни человека.

В некотором смысле события, произошедшие в Тегеране в 1979 г., которые часто называют Исламской революцией, являются первым примером такой реконструкции. Какими бы специфическими ни были иранские события, их можно рассматривать как начало более масштабного процесса осмысления политических возможностей в современном мире, с тех пор усилившегося не только за счет укрепления политического ислама, но и благодаря зарождающимся новым формам политического самосознания, охватывающим как многообразные успешные «прогрессистские» политические движения в Латинской Америке, так и новые политические силы, ориентированные на трансформацию постапартеидного государства ЮАР, а также на политику посткоммунистического Китая. Ускорение европейской интеграции после Маастрихтского договора, сопровождавшееся активными дискуссиями о европейском самосознании, в целом считается одной из важнейших попыток такого рода регионального подхода к осмыслению мира, хотя сейчас эта попытка иногда рассматривается как близкая к провальной. В последнее время возникновение БРИКС привело к стремлению воссоздать особую конфигурацию организации пространства – глобального Юга – и темпоральности – корректировку системы господства Запада (Севера). Эти наблюдения свидетельствуют о том, что сегодняшнюю ситуацию можно рассматривать с точки зрения продолжающейся тенденции к переосмыслению современности (с новыми существенными региональными различиями на фоне предшествующего опыта современности) – в контексте большей взаимосвязанности, которую не следует путать с реальной глобализацией, понимаемой как стирание границ. Современным процессам переинтерпретации еще довольно далеко от обретения новой консолидированной формы, вместе с тем главная подготовительная миссия для создания адекватной новой концепции прогресса состоит в определении основных контуров этих процессов.

На основании приведенных выше рассуждений можно рассматривать историю второй половины двадцатого столетия как трансформацию глобального мира, состоящего из совокупности консолидированных региональных, а по факту – пространственно очерченных интерпретаций современности, в глобальный мир с деструктурированными социальными отношениями

крайне изменчивой протяженности и значимости, но с проекцией безграничного пространства, населенного не связанными друг с другом индивидами. В самом общем виде сегодняшнюю борьбу за новые интерпретации современности характеризуют два фундаментальных противоречия:

– противоречие по вопросу о *темпоральной конфигурации настоящего* между теми, кто считает, что признание принципа равной свободы предполагает взгляд на человека как на обладателя равных прав в современном мире, и теми, кто считает, что последствия опыта исторического прошлого (не в последнюю очередь опыта притеснения и дискриминации) накладывают отпечаток на сегодняшнее состояние и что необходимо дифференцированно рассматривать права и нормативные требования;

– и противоречие по вопросу о *пространственной конфигурации настоящего* между теми, кто считает, что границы сдерживают проявление как политической, так и экономической автономии с негативными нормативными и функциональными последствиями, и теми, кто считает, что границы являются необходимым условием для осуществления коллективной автономии, которая, в свою очередь, необходима для создания пространства личной свободы.

При самом поверхностном взгляде становится очевидно, что в современном мире идет упорная борьба за поиск адекватного разрешения этих противоречий. Для того чтобы определить его наиболее оптимальный вариант, необходимо сформулировать новую концепцию прогресса. В концептуальном плане она позволит заменить жесткую концепцию прогресса как самодвижущей силы истории понятием, которое делает акцент на деятельности, воображении и критике. В контекстуальном плане эта концепция должна будет учитывать ситуацию нашего времени в двух основных аспектах. Во-первых, после разрушения системы формально закрепленного господства будущий прогресс должен стать прогрессом в сфере коллективной автономии, а значит, политическим прогрессом. Политику сегодня следует понимать как радикальную приверженность демократическому участию, придавая иной смысл широко используемому понятию демократизации, которое на деле часто подразумевает снижение способности к действию. Сложность состоит в необходимости одновременно препятствовать снижению влияния государственных институтов, формировать политический ресурс в области глобальной координации и осуществлять это в беспрецедентных по масштабам формах демократического участия. Построение такого демократического коллективного института должно происходить вместе с определением ключевых проблем, которые этот институт должен решать. Именно поэтому, во-вторых, еще одной важнейшей задачей нашего времени должен стать поиск более адекватной интерпретации мироустройства, в котором мы живем. Этот прогресс может быть достигнут лишь в борьбе с теми, кто заинтересован в утверждении такой мироинтерпретации, при которой их привилегии остаются неизменными. После ликвидации системы формально закрепленного господства актуальная работа по интерпретации и осмыслению мироустройства должна быть сосредоточена на выявлении новых форм господства, в частности тех, которые сегодня отрицают акту-

альность исторической несправедливости, утверждая, что теперь все люди равны и одинаково свободны. И она должна противостоять склонности к высокомерному убеждению в том, что человек способен освоить все грани своего существования на этой земле. Как следствие, разработка такой концепции прогресса для сегодняшнего дня заставит переосмыслить отношения между пространством нашего опыта и горизонтом наших ожиданий.

Перевод и примечания М.С. Ильченко

Научная редакция перевода М.С. Ильченко, В.С. Мартынова

Translated from English by M.S. Ilchenko

Academic editing by M.S. Ilchenko, V.S. Martianov

### References

- Foucault M. 1984. What is Enlightenment?, *Rabinow P. (ed.). The Foucault Reader*, New York, Pantheon Books, pp. 32-50.
- Habermas J. 1990. *Die nachholende Revolution* [The catching-up revolution], Frankfurt am Main, Suhrkamp, 225 p.
- Halperin S. 2016. Modernity and the embedding of economic expansion, *European Journal of Social Theory*, vol. 19, iss. 2. Special issue on “Modernity and capitalism” (ed. by David Casassas and Peter Wagner), pp. 172-190.
- Jaspers K. 1953. *The Origin and Goal of History*, New Haven, Yale Univ. Press, 294 p.
- Koselleck R. 1979. *Vergangene Zukunft* [Past future], Frankfurt am Main, Suhrkamp, 389 p. (in German).
- Koselleck R., Reichardt R. (eds.) 1988. *Die Französische Revolution als Bruch im gesellschaftlichen Bewußtsein* [The French Revolution as a break in social consciousness], Berlin, de Gruyter, 678 p. (in German).
- Offe C. 2010. *Was (falls überhaupt etwas) können wir uns heute unter politischem “Fortschritt” vorstellen?* [What (if anything) can we imagine by political “progress” today?], *Westend. Neue Zeitschrift für Sozialforschung*, Vol. 7, iss. 2, pp. 3-14. (in German).
- Wagner P. 1994. *A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline*, London, Routledge, 284 p.
- Wagner P. 2012. *Modernity: understanding the present*, Cambridge, Polity, 190 p.

### Издания (переводы) на русском языке

- Фуко М. 2002. Интеллектуалы и власть. Ч. 1. Статьи и интервью 1970–1984. Москва : Праксис. 384 с. (Новая наука политики).
- Ясперс К. 1991. Смысл и назначение истории. Москва : Политиздат. 527 с. (Мыслители XX века).

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

##### Питер Вагнер

профессор-исследователь Департамента социологической теории, философии права и методологии социальных наук Каталонского института перспективных исследований (ICREA), Университет Барселоны, г. Барселона, Испания;  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4416-718X>  
E-mail: [peter.wagner@ub.edu](mailto:peter.wagner@ub.edu)

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

##### Peter Wagner

is ICREA Research Professor in the Department of Sociological Theory, Philosophy of Law and Methodology of the Social Sciences at the University of Barcelona, Barcelona, Spain;  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4416-718X>  
E-mail: [peter.wagner@ub.edu](mailto:peter.wagner@ub.edu)





Гальперин С. Модерн и встраивание процессов экономического роста в национальные системы. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_96 // Антиномии. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 96–118.

УДК 321.01:330

DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_96

## Модерн и встраивание процессов экономического роста в национальные системы<sup>1</sup>

**Сандра Гальперин**

Роял Холлоуэй (Лондонский университет),

г. Лондон, Великобритания

E-mail: sandra.halperin@rhul.ac.uk

*Поступила в редакцию 27.06.2022*

Национальная экономика, которая имеет относительно широкую основу, характерная для индустриально развитых стран, обычно рассматривается как воплощение экономики Нового времени. Экономике этих стран в значительной степени являются внутренне ориентированными и зиждутся на производстве и услугах, направленных на удовлетворение местных и национальных потребностей. Принято считать, что такие экономики возникли в результате процессов, стартовавших в XVI в. и ускорившихся в XIX в. с расширением промышленного производства и ростом мировой торговли. Однако в данной статье эта точка зрения ставится под сомнение. В статье утверждается, что современная экономика представляет собой вовсе не кульминацию долгосрочных процессов развития, а повторяющееся явление, присущее капитализму. В истории капитализма наблюдались периоды, на протяжении которых капитал или был встроен в национальные экономики, или являлся частью свободного глобального рынка, то есть имели место периоды, когда капиталистические отношения были в большей или меньшей степени свободны от регулирования со стороны национального государства. Национальные экономики сегодня представляют собой не новую институцию на однолинейной траектории развития, но возврат к тем чертам моральной экономики, что были свойственны европейским и неевропейским обществам до XIX в.

**Ключевые слова:** капитализм, компромисс между классами, «встроенная» экономика, неолиберализм, шоковая терапия

---

<sup>1</sup> Оригинальную версию статьи см.: Halperin S. Modernity and the embedding of economic expansion // European Journal of Social Theory. 2016. Vol. 19, № 2. P. 172-190. Перевод публикуется с любезного разрешения автора.



© Гальперин С., 2022

## Modernity and the embedding of economic expansion

**Sandra Halperin**

Royal Holloway (University of London),

London, U.K.

E-mail: [sandra.halperin@rhul.ac.uk](mailto:sandra.halperin@rhul.ac.uk)

*Received 27.06.2022*

*Abstract.* The nationally embedded and relatively broad-based economies characteristic of developed industrial countries are usually seen as the incarnation of a modern economy. These economies are largely internally oriented and are based, to a relatively great extent, on production and services based on local and national needs. Their provenance is generally assumed to have been processes of development that began in the sixteenth century and that, in the nineteenth century, accelerated with the expansion of industrial production and the growth of global trade. This article challenges that assumption. It argues that today's modern economies represent, not the culmination of long-term processes, but a recurring phenomenon within capitalism. It argues that, in the history of capitalism, there have been phases of nationally embedded and global free market capitalism – periods when capital is relatively more, and relatively less, free from the regulation of nation state. Today's nationally embedded economies represent, not a further point along a unilinear developmental trajectory, but a return to features of the moral economies that characterized both European and non-European societies before the nineteenth century.

*Keywords:* capitalism; class compromise; embedded economies; neo-liberalism; shock therapy

*For citation:* Halperin S. Modernity and the embedding of economic expansion, *Antinomies*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 96-118. (in Russ.). DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_96.

Национальная экономика, имеющая относительно широкую основу, которая характерна для индустриально развитых стран, обычно рассматривается как воплощение экономики Нового времени. Экономики этих стран в значительной степени являются внутренне ориентированными и зиждутся на производстве и услугах, сконцентрированных на удовлетворении местных и национальных потребностей. Принято считать, что такие экономики возникли в результате процессов, стартовавших в XVI в. и ускорившихся в XIX в. с расширением промышленного производства и ростом мировой торговли. Однако в данной статье эта точка зрения ставится под сомнение. В статье утверждается, что современная экономика представляет собой не кульминацию долгосрочных процессов развития, а повторяющееся явление, присущее капитализму. В истории капитализма наблюдались периоды, на протяжении которых капитал или был встроен в национальные экономики, или являлся частью свободного глобального рынка, то есть имели место периоды, когда капитал был в большей или меньшей степени свободен от национального государственного регулирования. Национальные экономики сегодня представляют собой не новую институцию на однолинейной траектории развития, но возврат к тем чертам

моральной экономики, что были свойственны европейским и неевропейским обществам до XIX в.

В статье рассматриваются различные фазы национального и глобального свободного рыночного капитализма. Среди них «освобождение» (англ. *dis-embedding*) рынков от государственного контроля, ускорившее процесс капиталистической глобализации с конца XVIII в., «повторное встраивание» (англ. *re-embedding*) капитала в национальные системы в ходе мировых войн в начале XX в. и, наконец, действия, направленные на то, чтобы вновь «освободить» (англ. *dis-embed*) процессы экономического роста от государственного контроля в индустриально развитых странах в наши дни.

В конце XVIII в. в Европе началась кампания по освобождению капитала от ограничений, налагаемых на него местными сообществами. Она была нацелена на переустройство структуры политической власти посредством широкомасштабного и всеохватывающего идеологического подрыва так называемого старого порядка. На протяжении XIX в. европейские экономики росли за счет расширения и интеграции внешних рынков, в то время как внутренние рынки оставались недостаточно развитыми. Этот дуализм был очевиден повсюду в Европе<sup>1</sup>. Даже в протекционистских и интервенционистских государствах вместо внутренних развивались рынки внешние. Капитал в основном вкладывался либо за границу, либо во внутреннее производство, однако продукты данного производства предназначались главным образом на экспорт. Крах системы XIX в. и заключение компромисса между капиталом и трудом привели к повторному встраиванию европейских экономик в национальные системы после 1945 г.<sup>2</sup> Реформы социального обеспечения частично детоваризировали труд, а посредством рыночного и отраслевого регулирования инвестиции и производство были направлены на расширение и интеграцию национальных рынков. Однако теперь кампания по содействию рассредоточению капиталовложений и производства за границей – то есть нынешняя кампания глобализации – направлена на то, чтобы отыграть ситуацию назад и отменить тот компромисс, что был достигнут после Второй мировой войны, и снова «освободить» рынки от государственного контроля<sup>3</sup>.

### **«Освобождение» капитализма в XIX веке**

Возможно, наиболее важной главой для понимания ускоряющейся глобализации капитала в Новое время является демонтаж европейских систем национального благосостояния и регулируемых рынков в конце XVIII в., а также возникшие в результате этого социальные конфликты. Контекстом, в котором разворачивались эти события, была атака на правила «абсолютистского» (другими словами, интервенционистского) государства.

---

<sup>1</sup> См. об этом в разделе «Освобождение» капитализма в XIX веке».

<sup>2</sup> См. об этом в разделе «Повторное встраивание экономик в национальные системы в Европе».

<sup>3</sup> Этому посвящен раздел «Послевоенные события».

Противники обвиняли «интервенционизм» за стремление к чрезмерному регулированию. Однако одной из главных целей этого регулирования было обеспечить местное сообщество всем необходимым, гарантировать «честную практику» (англ. fair practice), защитить население от монополий и спекуляций, а также избежать дефицита и высоких цен.

В Англии законы не позволяли торговцам-посредникам действовать в обход рынка или «загонять его в угол», гарантировали контроль качества, справедливую цену и достаточный запас товаров на внутреннем рынке; торговые суды обеспечивали соблюдение этих законов (см.: Lie 1993: 282). Тот, кто требовал свободы торговли в XVIII в., на самом деле требовал освободить его от необходимости торговать на открытых рынках через заключение открытых сделок и в соответствии с правилами и положениями, которые обеспечивали «честную практику» и приемлемые цены (см.: Lie 1993: 283).

В XVIII в. правительства европейских стран регулировали местные рынки, видя одну из своих задач в поддержании благополучия местного сообщества и населения в целом. Французские власти требовали, чтобы зерно и другие продукты первой необходимости, прежде чем они пойдут на экспорт, были выставлены для продажи французским беднякам. В Великобритании законодательство о маркетинге, лицензировании и препятствовании поставкам товаров с целью повышения цен само устанавливало максимальные цены на основные продукты питания, такие как мясо и зерно. Магистратам (с помощью местных судей) было поручено обследовать запасы кукурузы в амбарах и зернохранилищах, заказывать необходимое количество зерна для отправки на рынок и контролировать рынок, чтобы обеспечить бедняков кукурузой по выгодной цене. Правительство также контролировало занятость народа и его расселение.

В странах Европы правительства принимали активное участие в обеспечении благосостояния населения. Традиционно бедным помогали монастыри, богадельни, братства, им оказывали поддержку из городских «запасов» и церковных сборов. Но начиная с XVI в. по всей Западной Европе государства все чаще координировали свои действия в помощи бедным или оказывали её в недостаточном объеме. В Англии в XVI в. началась кампания по искоренению бедности. Идя в ногу с общеевропейским движением, английские власти настаивали на принятии закона о создании новых учреждений для помощи бедным и организовали целую систему больниц для оказания им медицинской помощи. Как и в других городах Европы, в Лондоне в 1540–1550-х гг. была создана система больниц. Законодательство 1572, 1597 и 1601 гг. требовало от церковных старост и надзирателей за бедняками по всей Англии повышать церковные ставки и пособия, а также местные налоги и выплаты нетрудоспособным; трудоспособных же заставлять работать; учить детей бедняков (см.: Slack 1990). В конце XVII в. право помощи беднякам в случае крайней необходимости («нищеты») стало законным правом. К 1700 г. в Англии уже существовала система национального благосостояния (см.: Slack 1990: 22). Франция также установила общенациональную систему социального обеспечения в XVIII в. (см.: Lis, Soly, 1979: 200–209). К 1770 г. в Пруссии были приняты меры по созданию системы

социального обеспечения «от колыбели до могилы», которая гарантировала каждому прусскому подданному достаточное питание, санитарную профилактику и защиту полиции (см.: Dorwart 1971).

В XVIII в. народным массам часто удавалось использовать экономическую власть как потребителей. В Англии доходы капиталистов зависели от продажи круп и мяса миллионам людей. Экономика Европы в то время все еще основывалась на местных рынках и непосредственных отношениях между продавцом и покупателем. В Англии существовало «высококочувствительное потребительское сознание трудящихся» (Thompson 1991: 189) и традиция массовых выступлений за установление справедливых цен. Рабочие старались добиться справедливой заработной платы и регулировать продолжительность своего рабочего дня. В XVIII в. предприниматели стремились избежать государственного регулирования, торгуя с дальним зарубежьем и расширяя производство на экспорт. В этот период усилилась конкуренция за рабочую силу и вместе с ней выросла заработная плата, рабочие смогли «меньше работать и позволять себе более продолжительный отдых, не ставя под угрозу их традиционный уровень жизни» (Gillis 1983: 41; см. также: Eversley 1967: 220).

Таким образом, накануне промышленной революции правительства европейских стран осуществляли регулирование рынка от имени местного населения. Они контролировали цены и заработную плату, учредили защиту труда и в некоторых местах ввели в действие системы национального благосостояния. Народные массы, будучи рабочими и потребителями товаров, могли оказывать влияние на власть, чтобы получать в результате справедливую заработную плату и приемлемые цены. На протяжении большей части XVIII в. как цены, так и население были относительно стабильными, а уровень жизни только рос. Однако во второй половине века местные группы влияния, стремясь увеличить прибыль за счет расширения производства на экспорт, все больше настаивали на реорганизации экономических отношений и выводе свободного рынка из-под контроля со стороны национального государства<sup>1</sup>. Правительства в конце концов уступили их давлению и, уже ранее допустив изменения в институтах собственности, производственных отношениях, огораживании земли, концентрации капитала и землевладения, отменили ограничения на эксплуатацию ради личной выгоды, пренебрегли защитой труда, включая труд подмастерьев и регулирование заработной платы, а также социальное обеспечение. Европа встала на путь индустриализации, не неся никаких обязательств перед обществом по обеспечению справедливости.

Ключевым аспектом перехода от экономики, встроенной в национальные общественные системы, к относительно «освобожденной» экономике была полувекровая война, включавшая в себя революционное брожение, а также две мировые войны (Семилетнюю войну 1756–1763 гг., развернув-

---

<sup>1</sup> Производители текстиля были против правил, регламентирующих их деятельность, налогов и системы социального обеспечения; коммерческие банки хотели положить конец ограничениям на свободное движение капитала.

шуюся одновременно на территории Северной Америки, Европы, Индии и стран Карибского бассейна, Наполеоновские войны) и ряд революций, в том числе Французскую революцию и индустриальную революцию<sup>1</sup>. Великая война и революционные течения, высвобожденные ею, обозначили опасности, что таят в себе обученные военному делу массовые армии: проводилось множество аналогий между массовой армией солдат, созданной в великой войне, и массовой армией рабочих, необходимой для промышленного капиталистического производства. Именно в таком контексте элиты всего мира взялись за мобилизацию рабочей силы для промышленного производства.

Держать рабочий класс в подчинении всегда важнейшая проблема для элит, о чем на протяжении всей истории свидетельствует их большой страх перед восстаниями рабов или крестьянскими бунтами. Но искушение реорганизовать производство по образцу промышленного капитализма поставило перед элитами проблему несколько иного рода: как мобилизовать, и подготовить рабочую силу для промышленного производства, сохраняя при этом ее подчиненное положение по отношению к капиталу. Местные элиты обычно предпочитали очень медленно и выборочно внедрять механизацию, а также использовать те методы производства, которые снижали квалификацию рабочих, сохраняя их труд низкооплачиваемым и фрагментированным. Однако, сдерживая быстрый подъем новых могущественных классов, эти действия породили еще одну проблему: если уровень потребления народонаселения остается прежним или сокращается, то где найти потребителей продуктов дополнительного производства? Таким образом, сложившаяся модель экономического развития представляла собой экспансию, основанную на производстве товаров, главным образом предназначенных для иностранных потребителей или для отправки в районы своих новых поселений за границей<sup>2</sup>, а не на росте и интеграции местных рынков. Это создало дуалистическую экономическую экспансию, ставшую характерной чертой промышленного капитализма. Экспансию, базирующуюся на развитии массовой покупательной способности не внутри страны, а за счет иностранных покупателей и органов власти, с помощью кредитов и инвестиций в инфраструктуру, железные дороги и вооружение. Сформировалась система производства и обмена сырьем и промышленными товарами, в которую были интегрированы элиты разных стран с помощью британских и других европейских фирм. Вследствие этого как для расширения промышленного производства, так и для подчинения труда капиталу требовалось развитие покупательной способности и рынков за пределами

---

<sup>1</sup> Эта революция была не столько промышленной, сколько реорганизовала производственные отношения, в силу чего стало происходить резкое ускорение глобализации капитала.

<sup>2</sup> В период с 1830 и 1914 г. около 50 млн европейцев, 30% населения Европы в 1830 г., эмигрировали в Америку. Северная и Южная Америка стали для европейских товаров зарубежными рынками, что позволило европейцам расширить производство, не влияя сколько-нибудь опасным образом на общественные отношения внутри своих стран.

национального государства. Такое дуалистическое развитие стало моделью промышленной экспансии во всем мире.

Начиная с XVIII в. товары и услуги производились главным образом для ширящейся сети элит, по заказу правящих групп и правительств других стран. Великобритания увеличила строительство судов, производство котлов, оружия и боеприпасов, а также построила за рубежом железные дороги, каналы, банки, телеграфы и другие общественные здания и сооружения, где размещались правительственные и принадлежащие правительствам службы. Экспорт британского капитала обеспечивал покупательную способность иностранных правительств и элит, а также позволял финансировать развитие производства продуктов питания и сырья и их транспортировку в Европу. Тем самым стимулировалась дополнительная покупательная способность иностранцев, их спрос на британские товары. В центре этой деловой цепи находился Лондон, который не интегрировал различные отрасли экономики своей страны, а, подобно передовому сектору зависимой экономики какой-нибудь страны третьего мира, работал над созданием прочных связей между собственной экспортной промышленностью и зарубежной экономикой.

Создание и объединение экспортных секторов в Европе и других регионах способствовали глобальному экономическому росту, который обогащал элиты во всем мире, оставляя практически неизменными традиционные социальные структуры. Во всем мире благодаря такой системе производства и обмена создавались железные дороги, судоходные компании, порты, электроэнергетические компании, трамваи, телеграфы и городские водопроводные компании. Эта деятельность как в Европе, так и в других регионах привела к появлению новых отраслей, которые, принося иногда до половины доходов местной экономики, вовлекали лишь незначительную часть коренного населения.

Повсюду господствовали группы, которые стремились увеличить прибыль за счет расширения производства. Перед ними стояла проблема, как реализовать растущий объем товаров без соответствующей демократизации потребления «у себя дома». Способы решения этой проблемы в разных обществах варьировались в зависимости от типа производившихся на продажу товаров, относительной власти капитала и власти труда. Однако взаимодействие капитала с рабочей силой, как правило, определялось схожими возможностями, а также общим системным контекстом. Обычно элиты были заинтересованы в использовании самых современных методов приумножения своих доходов, богатства и власти. Ожидалось, что успех британской элиты в этом отношении вдохновит элиты других стран на подражание британским экономическим, социальным, административным и интеллектуальным тенденциям. Элиты (будь то элиты в колониях, бывших колониях или государствах, которые никогда не были колониями) расширяли, укрепляли и сохраняли свою власть, богатея за счет импорта капитала и товаров, развития шахт и экспорта сырья, строительства железных дорог и портов. В целом они были сплоченными и могли получить многое, они контролировали огромные ресурсы и могли свободно использовать их для достижения своих целей.

### **Повторное встраивание экономик в национальные системы в Европе**

В Европе, как и везде, дуалистическая экономическая экспансия позволила элитам нарастить производство и увеличить прибыль, не прибегая к экстенсивному перераспределению и реформам. Однако по мере роста числа стран, которые начали проводить экспансию, ориентированную во вне, возможности для расширения торговли за границей быстро сокращались, и экспансионистские цели европейских держав стали все больше сосредотачиваться на самой Европе. Европейский баланс сил рухнул, многосторонняя империалистическая война в Европе вынудила правительства и правящие элиты совершить именно то, чего им удалось не допустить за сто лет империалистической экспансии за границу, – мобилизовать массы.

В XVIII в. правительства полагались на социальные элиты в вопросах платы наемным войскам и предоставления военачальников для профессионального ведения войн. Воздействие этих войн на общественный порядок было относительно ограниченным. Однако участие низших классов в массовых военных кампаниях (речь идет о «гражданской» армии Наполеона и массовых армиях, мобилизованных для борьбы с ним) и вовлечение этих классов в те области общественной жизни, что раньше были для них закрыты, привели к усилению могущества рабочей силы и укреплению ее позиций на рынке (см.: Marwick 1980: ch. 11; Andreski 1968: 33–38). Это вынуждало правительства добиваться лояльности рабочих, предоставляя им различные права. Поэтому после Наполеоновских войн, несмотря на трудности, связанные с вербовкой и содержанием большого числа наемников, произошел возврат к армиям старого образца, состоящим из оплачиваемых профессионалов, наемников и «джентльменов» (см.: Silver, Slater 1999: 190). Армии нового типа, которые начал использовать Наполеон, применялись обеими сторонами во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. (что привело к страшным последствиям, в том числе к возникновению и разгрому Парижской коммуны), а затем вновь лишь в 1914 г.<sup>1</sup>

Ряд исследователей полагают, что участие рабочего класса в военных действиях служило доказательством победы национализма над социалистической солидарностью<sup>2</sup>. Но это было решительно не так. На протяжении Первой мировой войны борьба рабочих не ослабевала, более того, во

---

<sup>1</sup> Обзор этого вопроса см.: (Howard 1961: 8–39). Россия призвала большое количество мужчин в свои войска во время Крымской войны; о силах армии союзников, собранных для этой войны, см.: (Royle 1999: 91–92); отчет о французской мобилизации 1870–1871 гг. см.: (Taithe 2001: 6–13, 22–28, 38–47).

<sup>2</sup> Такого мнения придерживаются многие историки и социологи. Например, Юлиус Браунталь утверждает, что «дух международной солидарности [был] заменен духом национальной солидарности пролетариата с господствующими классами» (Braunthal 1967: 355). Йозеф Шумпетер рассматривает 1914 г. как «социализм на перепутье», «не выдержавший испытания» (Schumpeter 1951: 353). См. также: (Carr 1945: 20–21). О других работах, авторы которых солидаризируются с данной точкой зрения, см.: (Doyle 1997: 317–319); в указанном издании в этом отношении наиболее показательна сноска 9 на с. 318.



многих местах она ширилась и накалялась. В 1917 г. миллионы рабочих по всей Европе участвовали в массовых забастовках и демонстрировали солидарность с русской революцией. Фактически война стала поворотным моментом в развитии социализма и организованного труда как новой силы в Европе. В конце войны по всей Европе возникли левые партии и движения<sup>1</sup>, членство в профсоюзах резко возросло, поскольку неквалифицированная рабочая сила, сельскохозяйственные работники и женщины впервые присоединились к рядам организованных рабочих<sup>2</sup>.

К концу Первой мировой войны мобилизация и участие рабочих в военных действиях увеличили относительную силу труда в европейских обществах. По всей Европе мобилизация городского рабочего класса и крестьянских масс на войну привела к созданию более сильных, крупных, сплоченных и лучше организованных городских и сельских рабочих движений. К 1920 г. в Европе насчитывалось 34 млн профсоюзных активистов (см.: Ogg 1930: 759). Сомкнули ряды квалифицированные и неквалифицированные рабочие, представители разных профессий, а также анархисты, социал-демократы, коммунисты, социалисты, революционеры и реформисты (см.: Cronin 1982: 121, 139). Политика, которая имела целью остановить нарастающую «красную волну», превратив Германию в оплот против большевизма, среди прочего способствовавшая перевооружению и территориальной экспансии Германии (см.: Halperin 2004: ch. 7), напрямую привела ко Второй мировой войне. Именно потребность в рабочей силе, в сотрудничестве с ней во время Второй мировой войны вынудила элиты идти на политические компромиссы с рабочим движением.

### Послевоенные события

В 1914 г. угроза большой империалистической войны вновь вынудила европейские государства прибегнуть к тому, что в те времена было самым мощным средством массового уничтожения, – к массовой мобилизации (*фр.* *levée en masse*). Массовые мобилизации во время Первой мировой войны дали толчок революционному социальному движению, которое в 1917–1939 гг. прокатилось по Европе. Попытки предотвратить его дальнейшее распространение и эскалацию привели непосредственно ко Второй мировой войне. В итоге Европа была полностью преобразована. За революционными пожарами и войнами прошлого следовали периоды восстановления (например, после Наполеоновских войн, революций 1830 и 1848 гг. и Первой мировой войны), однако Вторая мировая война, изменив баланс классовых сил по всей Европе, сделала невозможным очередной возврат к старому по-

---

<sup>1</sup> Социалистические партии пришли к власти в Швеции (1920), Дании (1924) и Норвегии (1927); первое лейбористское правительство пришло к власти в Великобритании в конце 1923 г.; левые победили во Франции в 1924 г.; в Бельгии и Голландии социалисты впервые вошли в кабинет министров в 1939 г.

<sup>2</sup> Членство в профсоюзах Великобритании удвоилось с 4 до 8 млн человек (см.: Geary 1981: 151-155); в Италии, удвоившись во время Первой мировой войны, оно снова возросло почти в два раза к 1920 г. (см.: Maier 1975: 47; Vandervelde 1925).

рядку. Наоборот, возросшая организационная сила рабочего класса и крестьянских масс, а также упадок аристократии вследствие перемен военного времени создали условия для заключения исторического компромисса между классами. В Западной Европе сложился капитализм, который был по большей части встроен в национальные структуры (то есть экономическое развитие стало более сбалансированным и внутренне ориентированным), а также установилась демократия.

Классовый компромисс, заключенный в Западной Европе после Второй мировой войны, был основан на социал-демократическом и кейнсианском политическом инструментарии. От социал-демократов он требовал согласиться на частную собственность на средства производства и на использование капиталистами прибыли, которую те могли бы получить от этой собственности, для увеличения производственных мощностей и частичного распределения данной прибыли среди других групп населения (см.: Przeworski 1979: 21-63). Благодаря росту производительности вместе с прибылью выросла и заработная плата рабочих. Благодаря этому для рабочих стало доступным массовое потребление товаров новых отраслей производства. Впервые партии, представляющие рабочих, стали легитимными участниками политического процесса. После 1945 г. социалисты регулярно входили в состав коалиционных правительств Австрии, Швейцарии, Нидерландов и стран Северной Европы. Лейбористская и Социалистическая партии сформировали правительства и вошли в правящие коалиции в Великобритании и Франции. В Италии в 1963 г. христианские демократы привели в правительство Независимую социалистическую партию. В Западной Германии социалисты правили в коалиции с христианскими демократами с 1966 по 1969 г. и сформировали первое в истории ФРГ левое правительство в 1969 г.

Для Европы после Второй мировой войны было более характерно устойчивое развитие, нежели кратковременные всплески роста, и более справедливое, чем в довоенный период, распределение доходов. Развитие больше не зиждилось на дуалистической экспансии, оно стало результатом деятельности национального общества, а не иностранных островков капитала<sup>1</sup>. Выгоды от этого процветания были повсеместны. Большинство исследователей сходятся во мнении, что в Великобритании доходы после Второй мировой войны распределялись более равномерно, чем в 1938 г. Перед Первой мировой войной (1911–1913) верхние слои населения (5%) владели 87% личного богатства, нижние (90%) – 8%; в 1960 г. эти цифры составляли 75 и 17% соответственно (см.: Hobsbawm 1968: 274). В отличие от довоенной экономической политики, послевоенная политика была направлена на более справедливое распределение доходов, а также рост дохода на душу населения. Существенный рост заработной платы многие правительства считали одним из своих первых достижений после войны; повышение уровня занятости

---

<sup>1</sup> Дуалистическая, то есть не укорененная в системы национального государства экономическая экспансия, которую мы рассматриваем в данной статье, включает в себя как мобильность капитала, так и торговую мобильность: рассредоточение капиталовложений и производства, а также производство для международной торговли за счет расширения внутренних рынков.

имело высокий приоритет при разработке стратегий и планов развития, а также при установлении инвестиционных критериев. Устойчивые инвестиции, сбалансированное развитие [экономики], демонополизация и повышение уровня благосостояния населения привели к широкомасштабному развитию и беспрецедентному [экономическому] росту.

В Европе повторное встраивание экономик в национальные системы было достигнуто в результате большого насилия и разрушения – путем революции (в России) и широкомасштабной, массовой, разорительной войны (на территории всей Европы). В Австралии, Канаде и Новой Зеландии класс землевладельцев был ограничен в правах с самого начала, и поэтому его доходы не использовались исключительно для обогащения тех традиционных классов, представители которых владели землей [аристократии], как это было в Европе. В Соединенных Штатах, где сформировался сильный класс землевладельцев Юга, борьба между южанами и промышленниками Севера переросла в одну из самых кровавых в истории гражданских войн, которая завершилась победой промышленной буржуазии. В результате здесь развились особые модели владения землей – на авансцену выдвинулись мелкие землевладения. В Японии масштабная и впечатляюще успешная земельная реформа, навязанная союзными державами после Второй мировой войны, привела к перестройке экономики и общества. Была преобразована отсталая, феодальная сельская экономика, произошло переустройство политической власти, наблюдался всесторонний рост производительной способности экономики за счет значительного покупательского спроса в сельском хозяйстве и увеличения предложения на местные продукты питания и сырье (см.: Ladejinsky 1959). Подобные реформы были профинансированы и реализованы Соединенными Штатами на Тайване и в Южной Корее. Страны первого и второго мира смогли в полной мере принять участие в беспрецедентном с точки зрения истории экономическом буме 1950-х – 1960-х гг. Однако изменения, в ходе которых фактически произошла национализация капитала, расширение и интеграция внутренних рынков, осуществлялись только в странах первого и второго мира, этим процессам просто не дали развиваться где-либо еще. Ведь элиты и правящие группы в первом мире, а также в новых независимых развивающихся государствах объединились, чтобы искоренить социализм, сдержать развитие демократических институтов и укрепить дуалистические структуры в странах на обширной территории, которые в совокупности стали именоваться третьим миром.

**«Освобождение» (денационализация) капитала:  
конец первого и второго мира**

После окончания Второй мировой войны период существования трех миров, которые демонстрировали разные модели развития, представлял собой лишь краткое «междурядствие». Принятие социал-демократической политики после Второй мировой войны фактически покончило с дуализмом, который был ранее характерен для европейских экономик; это должно было позволить всем мирам развиваться способами, ассоциировавшимися со стра-

тегией первого и второго мира. Однако с началом разрушения социализма как в третьем, так и во втором мире в западных государствах началась кампания по изменению их социального устройства. В 1970-х гг. страны первого мира стали отменять ограничения на мобильность капитала, упразднять регулирующие органы и сворачивать программы социального обеспечения, благодаря которым были созданы условия послевоенной жизни, обычно ассоциировавшиеся со способом развития первого мира. В конце 1980-х аналогичные меры принял и второй мир (коммунистические режимы).

С возвратом к принципам довоенной политики стал наблюдаться и возврат к транснациональным пространствам. Производственные ресурсы снова начали концентрироваться в городах и регионах, а глобальные торговые и технологические потоки и движение капитала вернули себе прежнее значение. Это явление мы и называем глобализацией. Несмотря на то, что составляющие ее черты нередко характеризуют как новые, они таковыми не являются. На них сравнительно недавно стали обращать внимание, однако возникли они отнюдь не недавно – они лишь проявились повторно с принятием правительствами различных инициатив по реструктуризации, направленных на восстановление (в первом и втором мире) и углубление и расширение (в третьем мире) структур, характерных для довоенной экономики.

### **Конец первого мира**

Кейнсианско-фордистский компромисс, возникший в США с принятием «Нового курса» Рузвельта, требовал гораздо меньших уступок со стороны капитала, чем социал-демократические компромиссы, существовавшие в Европе. В США наблюдался более высокий уровень внутренних инвестиций и более быстрый [экономический] рост, чем в странах Западной Европы (см.: Schonfield 1965: 5-6). Кейнсианская политика также функционировала как программа социального обеспечения для массового производства вооружений, которое стартовало в США в 1860-х гг. и впоследствии становилось все более и более важной частью американской экономики. Следует подчеркнуть, что у промышленности США было мало конкурентов, поэтому признанная с ее стороны часть фордистского компромисса – высокая заработная плата – могла быть с лихвой компенсирована более высокими ценами на товары. Однако к 1960-м гг. конкуренция со стороны Европы и Японии начала сводить на нет преимущества, которыми пользовалась промышленность США, размер ее прибыли сокращался (см.: Coates 2000: 28-32). В то же время, когда международная конкуренция стала ограничивать ценообразование, забастовки трудящихся и градус политического радикализма, поднятый за счет массового призыва на военную службу во Вьетнам, сделали снижение заработной платы неоправданным с политической точки зрения.

Введение массовой воинской повинности во время войны во Вьетнаме усилило внутреннюю оппозицию в США по отношению к холодной войне, расширило и активизировало движение за гражданские права. Но правительство США, отчаянно пытавшееся одержать победу в войне во Вьетнаме (1955–1975), в 1960-х создало армию на основе массового призыва.

В свете опыта Европы в мировых войнах последствия этого для США оказались предсказуемыми. Война политизировала и радикализировала массы людей и спровоцировала мощное давление на государство, имеющее целью расширить гражданские права. Это давление подорвало коалицию вокруг «Нового курса», который лежал в основе кейнсианско-фордистского компромисса с рабочими. Эта коалиция была создана отчасти на базе соглашения между Севером и Югом о сохранении статус-кво касательно расового вопроса. С расширением движения за гражданские права богатые южане переметнулись из Демократической партии в Республиканскую и, сея страх и ненависть к другим расам, сумели увести за собой большинство белых южан. Мало того, что хрупкий баланс сил в рамках коалиции «Нового курса» был нарушен, но и единство рабочего класса также было расколото, поскольку рядовые члены профсоюзов в северных городах сопротивлялись требованиям интеграции жилья, образования и профсоюзов.

В 1968 г. протесты и демонстрации по всему миру ознаменовали начало конца послевоенного порядка. В США борьба за гражданские права, переросшая в бунты, и эскалация протестов против войны во Вьетнаме и холодной войны воспринимались как часть мировой революции, которая прервала трехстороннее разделение мировой системы того времени на страны Запада, коммунистический блок и третий мир (см.: Wallerstein 2006: 84; см. также: Katsiaficas 1987; Harman 1988; Arrighi et al. 1989; Watts 2001). Мировое влияние этих событий, развертывание революционной активности и агрессивного противодействия ей в США сделали 1968 г. поворотным моментом, изменившим весь послевоенный порядок. В США деятельность движений против холодной (и вьетнамской) войны, движений за гражданские права нарушила баланс сил, от которого зависел кейнсианский компромисс, заключенный после Второй мировой. Это повлекло за собой изменения в политике, которая дерегулировала капитал, и запустило более широкий процесс денационализации экономики США. В 1970-х гг. правительства других стран первого мира ввели меры по устранению ограничений на мобильность капитала, стали упразднять регулирующие органы и сворачивать программы социального обеспечения. В течение нескольких лет решительный сдвиг в политике денационализировал капитал во всем первом мире и заложил основы для быстрого возврата к транснациональному капитализму, то есть к накоплению капитала за пределами территориальных границ национального государства. Из-за необходимости брать кредиты за границей, чтобы финансировать как ведение войны во Вьетнаме, так и социальные программы, призванные остановить рост внутривнутриполитической напряженности («Великое общество»), США отказались от золотого стандарта и отменили контроль за движением капитала. При этом нужно понимать, что к 1973 г. США были крупнейшим в мире государством-должником. В 1973 г. Германия также отменила контроль за движением капитала. В конце 1970-х примеру США и ФРГ последовали Япония и Великобритания. Страны ОЭСР и Европейское сообщество отменили контроль за движением капитала и свернули программы социального обеспечения в период с начала до середины 1980-х гг. Данные меры объяснялись необходимостью, вызванной

начавшейся глобализацией, но на самом деле государственная политика была разработана не для того, чтобы приспособливаться к новым обстоятельствам, а для продвижения этих обстоятельств.

Попав в ситуацию сокращения прибыли из-за конкуренции за границей и столкнувшись с протестными настроениями рабочих внутри страны, капиталисты США настаивали на изменении политики, которое позволило бы им избежать негативных последствий кейнсианско-фордистского компромисса в «закрытом внутреннем контексте» (Van der Pijl 1998: 119). Отмена контроля за движением капитала в 1970-х гг. вызвала колоссальную волну экспорта капитала. До этого экспорт капитала из США был относительно небольшим (в XIX в. британский экспорт капитала составлял 10% ВВП; а американский на пике своего развития – около 2% ВВП); в стране действовала система социального обеспечения, поддерживалось равенство доходов [наемных работников] и высокая заработная плата. Экспорт капитала, начавшийся в конце 1970-х гг., был частью структурного сдвига в экономике, включавшего в себя сокращение рабочей силы и перезагрузку деятельности предприятий «на все более низкие уровни производства и занятости» (Williams K., Williams J., Haslam 1989: 292). Позиция рабочего класса была ослаблена за счет того, что отношения между нанимателями и работниками стали более гибкими по причине заключения договоров субподряда и практики аутсорсинга, закрытия заводов и увольнений, концессионных соглашений и уничтожения профсоюзов, а также интернационализации производства за счет прямых иностранных инвестиций. К началу 1990-х гг. отмена регулирования промышленности и рынков, отказ от валютного контроля, приватизация государственных активов и сокращение программ социального обеспечения, разрешив кризис [послевоенного порядка], привели вместе с тем к росту неравенства, увеличению числа бедных и бездомных<sup>1</sup>.

### Конец второго мира

К концу 1980-х гг. в странах второго мира начала проводится шоковая терапия – радикальная версия экономической политики, которая быстро восстановила дуалистические и монополистические капиталистические структуры, характерные для экономики до мировых войн. В России политика шоковой терапии привела к крайне поляризованному распределению доходов: чрезмерные богатства получило небольшое число граждан, почти все они прежде были представителями номенклатуры КПСС. На другом полюсе оказались люди с крайне низким уровнем заработной платы. Разрушение промышленности, сокращение населения и общий упадок, вызванные этой политикой, были настолько экстремальными, что приравнивались к фактической «демодернизации» страны (Cohen 2000:

---

<sup>1</sup> Каждый десятый американец получал федеральные продовольственные талоны. Уровень младенческой смертности среди афроамериканцев в 1990-х гг. составлял 17,7 смертей на 1000 родившихся живыми, что сопоставимо с младенческой смертностью на Ямайке (17,2), в Тринидаде и Тобаго (16,3) и на Кубе (16) (см.: Bello, Cunningham, Rau 1994: 95-97).

41). Экономика попала под жесткий контроль со стороны представителей кланового капитализма и криминальных синдикатов, экспортного лобби и внутренних служб безопасности. Советский Союз производил промышленные товары и инвентарь для развивающихся стран, но политика шоковой терапии быстро превратила Россию в экспортера природных ресурсов. Около 70% от всего экспорта в капиталистической России составляют сырьевые товары, и теперь страна импортирует товары с более высокой добавленной стоимостью, которые ранее СССР производил сам для себя (см.: Соорер 2009: 9). Наконец, рыночная свобода породила отнюдь не демократию, а авторитарное суперпрезидентство, напоминающее царский режим накануне [Февральской] революции 1917 г. с элементами империализма и великодержавного шовинизма XIX в. Эти черты капиталистической России часто считают наследием коммунизма, однако они присущи капиталистическим системам и отмечаются на протяжении всей их истории<sup>1</sup>.

Реформы, направленные на предоставление большей рыночной свободы, были осуществлены почти во всех странах Восточной Европы начиная с 1960-х гг. В течение десятилетия эти реформы увеличили разницу в доходах и создали классовую стратификацию, во многом схожую с системой классовой стратификации западного капитализма (см.: Parkin 1969: 255-274). Югославия, где рыночные реформы были проведены раньше и гораздо радикальнее, чем в других социалистических странах (см.: Landy 1961), стала не только самым политически нестабильным из них государством, но и ареной, где развернулись серьезные насильственные конфликты между народами. К концу 1970-х гг. экономическое развитие стран Восточной Европы начало резко замедляться. Чтобы повысить эффективность своей экономики, их правительства импортировали из западных стран передовые технологии, на приобретение которых они брали кредиты в западных банках, у правительств и международных финансовых организаций. Но медленный рост мировой экономики в конце 1970-х–1980-х гг. затруднил выплату этих кредитов, а бремя долга обернулось тяжелым экономическим кризисом в Польше, Румынии и Югославии, а также привело к ухудшению условий жизни во всей Восточной Европе (см.: Tipton, Aldritch 1987: 248-252).

В 1989 г. по Восточной Европе прокатилась волна демонстраций. Она стала прелюдией к относительно мирным революциям, которые в том же году привели к смене правительств в Польше, Чехословакии, ГДР, Румынии и Болгарии. Эти революции были инициированы членами коммунистических партий, которые к тому времени уже утратили всякую связь с пролетариатом – они лучше других понимали, как использовать преимущества рыночных и капиталистических форм собственности. Поэтому они и стремились ускорить перевод восточноевропейских экономик на рыночные рельсы

<sup>1</sup> Исследователи выделили новые формы демократии, возникшие в последние десятилетия как результат неолиберальных преобразований: авторитарная демократия, неопатримониальная демократия, военная демократия, ограниченная, олигархическая, контролируемая, ограничительная, нелиберальная, охраняемая, защищенная и опекунская демократия.

(см., напр.: Taborsky 1961: 32-37; von Lazar 1966; Tismeneanu 1989: 31; Lipski 1989–1990: 19-21). Революции привели к дальнейшему снижению уровня жизни и усилению расслоения обществ. Наряду с новыми классами предпринимателей в Восточной Европе впервые после Второй мировой войны появились армии безработных. Переход к рынку быстро привел к рекордному росту неравенства в отдельных странах. В 1988 г. Восточная Европа была самым равноправным регионом мира. К 1993 г. социальное неравенство в странах Восточной Европы было гораздо большим, чем в странах Западной Европы и Северной Америки.

### **Углубление и воспроизводство дуалистической экономики в третьем мире**

Многие изменения [в экономике], которые с 1970-х гг. описывались учеными как новшества, на самом деле представляют собой возврат к структурам, существовавшим до Второй мировой войны. В значительной степени они были обусловлены неолиберальной политикой, направленной на реструктуризацию рынков и их интеграцию в глобальные товарные цепочки. Неолиберальные преобразования продвигались под разными лозунгами. Они были проведены в странах первого мира в конце 1970-х гг. под лозунгом глобализации; а позднее, когда они более радикально осуществлялись в Восточной Европе и России, их называли шоковой терапией или ускоренным переходом от социалистических [экономик] к капиталистическим рыночным системам. Они перманентно продвигались и под множеством других лозунгов как способ углубления и расширения дуалистической экономики в остальном мире (третьем мире) посредством структурной перестройки, демократизации политического режима и формирования гражданского общества.

В послевоенную эпоху сформировалось устоявшееся мнение о том, что экономический рост приведет к созданию в странах третьего мира таких же условий жизни, как и в передовых странах первого мира. В 1970–1980-х гг. страны третьего мира незначительно продвинулись к этой цели<sup>1</sup>. Однако к концу 1980-х уровни индустриализации стран первого и третьего мира начали сближаться. Ряд исследователей пришли к выводу, что скоро наступит конец третьего мира как политического, экономического и идеологического образования<sup>2</sup>; в 1990-е гг. все больше ученых соглашались с этим прогнозом<sup>3</sup>. Основанием для такого оптимистического прогноза послужили два показателя индустриализации – доля ВВП на душу населения, занятого в промышленном производстве и доля несельского на-

<sup>1</sup> Это, а также отсутствие единого мнения о причинах происходящего усугубило кризис в исследованиях социального развития (см., напр.: Seers 1979; Caporaso 1980; Hirschman 1981; Sen 1981; Lal 1983; Streeten 1983; Arndt 1987; Toyе 1987; Leeson 1988; Mouzelis 1988; Ranis, Schultz 1988).

<sup>2</sup> Начало этому направлению мысли, вероятно, положила вышедшая в 1986 г. книга Найджела Харриса «Конец третьего мира: новые индустриальные страны и упадок идеологии».

<sup>3</sup> См., напр.: (Arnold 1993; Hettne 1995; Hoogvelt 1997; Held et al. 1999: 8, 177, 186-187; Burbach, Robinson 1999; Robinson, Harris 1987). Общий аргумент в пользу



селения в общей численности населения. Третий мир не просто догнал, но и «перегнал первый мир по степени индустриализации» – первому показателю; в отношении другого показателя третий мир «демонстрирует превосходящие в четыре раза темпы урбанизации» (Arrighi et al. 2003: 15). Эти данные приведены в табл. 1. Однако, несмотря на сближение уровней индустриализации, разрыв в доходах и богатстве между первым и третьим миром увеличивается<sup>1</sup>. Получается, что после Второй мировой войны страны третьего мира достигли индустриализации без «развития», то есть в них не сложились те условия жизни, что были характерны для стран первого мира.

Страны третьего мира никто никогда не принуждал проводить политику, которая привела к широкомасштабному национальному экономическому росту в странах первого мира. Более того, им едва ли было бы позволено проводить такую политику, даже если бы они сами того желали. Таким образом, после 1945 г. их экономика оставалась дуалистической. Поскольку индустриализация дает разные результаты в национально интегрированной и дуалистической экономике, сравнение уровней индустриализации вводит в заблуждение. В дуалистической экономике ведущие сектора остаются в значительной степени отчужденными от других секторов, что ограничивает рост внутренней экономики. Рассмотрим в этом свете данные об аграрном секторе стран первого и третьего мира в табл. 2 и сравним их.

Отраслевые и сравнительные данные, представленные в табл. 1 и 2, показывают, почему индустриализация в странах третьего мира не привела к созданию условий жизни, характерных для первого мира.

Страны третьего мира, уровень индустриализации которых сопоставим с уровнем индустриализации стран первого мира, достигли этого путем концентрации производственных ресурсов в городах и мобилизации

**Таблица 1.** Два индекса сближения уровней индустриализации первого и третьего мира, %\*

	Доля промышленного производства в структуре ВВП		Доля несельского населения в общей численности населения	
	1980	1995	1980	1995
Первый мир	24,3	20,4	75,4	78,2
Третий мир	25,6	25,6	30,6	42,5

\* Источник информации: (World Bank. 1999).

данного вывода заключался в том, что выравнивание условий жизни в первом и третьем мире служит свидетельством того, что географическое разделение на север/юг, на ядро/периферию или на первый и третий мир, хотя и остается существенным, но его роль уменьшается (см.: Burbach, Robinson 1999: 27-28).

<sup>1</sup> В сентябре 1997 г. в Резолюции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по окружающей среде и развитию было указано, что в мире произошло увеличение общего числа людей, живущих в нищете. Возросло неравенство доходов как между странами, так и внутри стран, во многих странах усугубилась проблема безработицы, в последние годы увеличился и разрыв между наименее развитыми странами и прочими государствами (United Nations General Assembly, A/RES/S-19/2, 19 September 1997, available at: [www.un.org/documents/ga/res/spec/aress19-2.htm](http://www.un.org/documents/ga/res/spec/aress19-2.htm))

**Таблица 2.** Показатели аграрного сектора, %

страна	Третий мир		страна	Первый мир			
	1997*			1997**		Канун Первой мировой войны	
	Доля от общей раб. силы	Доля в ВВП		Доля от общей раб. силы	Доля в ВВП	Доля от общей раб. силы	Доля в ВВП
Эфиопия	86	50	Япония	7	2	63	38
Непал	83	40	Франция	5	2	43	35
Кения	80	26	Германия	4	1	38	18
Китай	72	18	США	3	2	31	17
Индия	64	29	Великобритания	2	2	12	8
Индонезия	55	20					
Пакистан	52	26					
Филиппины	46	17					
Нигерия	43	32					
Перу	36	7					
Мексика	28	5					
Бразилия	23	8					

\* Данные за 1997 г. как для первого, так и для третьего мира приводятся по: (United Nations Statistics, 2000; World Bank, World Development Indicators, 1998, 1999).

\*\* Средние данные указаны по (Kuznets 1957: 73) за следующие годы: Япония – 1912 г., Франция – 1910 г., Германия – 1910 г., Великобритания – 1911 г., для США доля сельского хозяйства в ВВП указана за 1904–1913 гг., доля рабочей силы в сельском хозяйстве – за 1900 г.

этих ресурсов для внешней торговли, а не для расширения внутреннего рынка, как это было сделано в первом мире. Следовательно, большая часть рабочей силы по-прежнему сосредоточена в малопроизводительном сельском хозяйстве. Условия жизни тех, кто живет в сельской местности и беден (во многих странах третьего мира таковые составляют большинство<sup>1</sup>), незначительно отличаются от существовавших 200 лет назад, когда индустриальная эра только стартовала.

### **Выводы: посткейнсианские стратегии накопления – реинтеграция трех миров**

Неолиберальная политика представляет собой возврат к докейнсианской, или фордистской, политике. Неолиберализм считает себя наследником либерализма, господствующей экономической доктрины конца XIX –

<sup>1</sup> Сельская беднота в процентах от общей численности населения стран третьего мира в 1997 г.: Непал (88), Эфиопия (82), Индия (72), Китай (68), Кения (67), Пакистан (63), Индонезия. (59), Нигерия (56), Филиппины (41), Перу (27), Мексика (26), Бразилия (19) (Статистика ООН, 2000; Всемирный банк. Показатели мирового развития, 1998, 1999).

начала XX в., его повестка явно принадлежит девятнадцатому веку (см.: Chang 2003: 3). Он призывает к демонтажу государственного планирования и регулирования экономической деятельности. Неолиберализм изображает такую политику как нечто новое и необходимое для решения проблем нового глобального мира. Но подобные заявления лишь маскируют тот факт, что неолиберальная политика, под каким бы лозунгом она ни проводилась, призвана реконструировать ключевые аспекты довоенного международного политического и экономического порядка, и в частности гарантировать международное право собственности (в противовес национальному) (см.: Lal 2003).

В странах третьего мира неолиберальная реструктуризация осуществлялась посредством структурных реформ, а также за счет восстановления разрушенной инфраструктуры после стихийных бедствий и войн. Милтон Фридман ввел термин «шоковая терапия» (*англ.* shock therapy) не только для описания мер, направленных на переход к свободному рынку, осуществлявшихся в России и Восточной Европе, но и для описания того, как кризис может быть использован в тех же целях. Подобно войне и этническим чисткам, такие «кризисы», как цунами в Шри-Ланке в 2004 г. и ураган «Катрина» в США, создают пространство для неолиберальной реструктуризации, не позволяя людям, которые были вынуждены переехать в результате этих бедствий, возвращаться на места прежнего проживания и заново отстраиваться там.

Неолиберальная реструктуризация также проводилась через демократизацию и установление гражданского общества. Деловые круги продвигали эти инициативы с целью восстановления или же создания институциональных механизмов, позволяющих получить доступ к политике (см.: Conaghan et al. 1990). Парламентские институты и избирательные системы, которые считаются плодотворными результатами этих инициатив, не способствуют, да и не предназначены для организации общественных дискуссий и вовлечения граждан в политическую жизнь. Достижение демократии в Западной Европе и государствах других регионов обусловлено множеством факторов: усилением могущества рабочего класса по сравнению с другими классами, встраиванием капитализма в национальные системы, развитием покупательной способности рабочих, расширением и интеграцией внутренних рынков, политикой, направленной на увеличение внутренних инвестиций, более справедливым распределением доходов, возобновлением осуществления государствами социальных и регулятивных функций, от которых произошел отказ в конце XVIII в. Но вовсе не этому способствуют якобы демократические инициативы западных правительств, а также неправительственных и международных организаций в странах третьего мира. Они также мало отражены в обширной литературе, исследующей необходимые условия или предпосылки для развития демократии.

Инициативы по формированию гражданского общества не дают звучать независимому, автономному голосу масс. Эти предложения предусматривают институционализованные формы гражданского участия, которые нацелены на укрепление узкого круга интересов, ориентированного вовне. И они

ведут к маргинализации или ослаблению профсоюзов, ассоциаций фермеров и рыбаков, а также этнических, религиозных или кастовых ассоциаций.

Изменения, произошедшие в некоторых регионах мира после мировых войн, представляли собой отход от исторических моделей капиталистической экспансии. Эти изменения были не результатом индустриализации или роста ВВП, а следствием политики государственного регулирования, которая заставляла инвестиции и производство служить расширению и интеграции национальных рынков. Однако этот период был лишь кратким «междоцарствием». С его окончанием вновь вернулись довоенные структуры и модели. В результате политики реструктуризации национальных экономических пространств производственные ресурсы снова стали концентрироваться в крупных городах мира и мобилизовываться для внешней торговли. Все эти факторы способствовали возвращению присущих глобализации транснациональных потоков, сетей и организаций, которые всегда были для нее характерны.

После Второй мировой войны европейские государства вернули себе функции социального обеспечения и регулирования, от которых они отказались в XIX в., и начали проводить политику, направленную на увеличение внутренних инвестиций. Все эти действия привели к более справедливому распределению доходов и расширению внутренних рынков. В странах Европы, так же как в Японии и «азиатских тиграх», наблюдалось всеобъемлющее развитие, беспрецедентный рост и процветание. Реформы системы социального обеспечения, регулирование рынка и промышленности гарантировали, что инвестиции и производство будут служить расширению и интеграции национальных рынков. Однако в том, что мы называем третьим миром, мировые войны и Великая депрессия привели к сокращению существующих социальных структур за счет договоренностей между корпорациями и псевдонациональных проектов развития, которые лишь воспроизводили дуалистическую модель и увековечивали традиционный порядок на обновленной основе. В результате после Второй мировой войны траектории развития так называемых индустриально развитых стран и стран третьего мира впервые стали расходиться. Но в 1970-е гг. развитые страны начали отменять ограничения на мобильность капитала, упразднять регулирующие органы и сворачивать программы социального обеспечения. Доминирующей тенденцией этих связанных с глобализацией изменений является возврат передовых индустриальных стран к проведению мер по высвобождению процессов экономического роста от государственного контроля, которое было присуще их экономике до кризиса мировых войн и Великой депрессии. Следовательно, с течением времени может оказаться, что 1950–1960-е гг. были кратким перерывом между периодами «освобождения» капитализма, которым с самого начала характеризовалась индустриализация.

Перевод и примечания *М.С. Ильченко*

Научная редакция перевода *М.С. Ильченко, В.С. Мартянова*

Translated from English by *M.S. Ilchenko*

Academic editing by *M.S. Ilchenko, V.S. Martianov*

References

- Andreski S. 1968. *Military Organization and Society*, 2<sup>nd</sup> ed., Berkeley, Univ. of California Press, xviii, 238 p.
- Arndt H.W. 1987. *Economic Development: The History of an Idea*, Chicago, Univ. of Chicago Press, viii, 217 p.
- Arnold G. 1993. *The End of the Third World*, New York, St. Martin's Press, viii, 232 p.
- Arrighi G., Silver B., Brewer B. 2003. Industrial convergence, globalization, and the persistence of the North-South divide, *Studies in Comparative International Development*, vol. 38, iss. 1, pp. 3-31.
- Arrighi G., Wallerstein I., Hopkins T. 1989. *Antisystemic Movements*, London, New York, Verso, ix, 123 p.
- Bello W., Cunningham Sh., Rau B. 1994. *Dark Victory: The United States, Structural Adjustment and Global Poverty*, London, Pluto Press, Oakland, Food First, Amsterdam, THI, xii, 148 p.
- Braunthal J. 1967. *History of the International*, vol. 1, 1864–1914, New York, Praeger, 596 p.
- Burbach R., Robinson W. 1999. The fin de siècle debate: globalization as epochal shift, *Science & Society*, vol. 63, iss. 1, pp. 10-39.
- Caporaso J.Y. 1980. Dependency theory: continuities and discontinuities in development studies, *International Organization*, vol. 34, iss. 4, (Autumn), pp. 605-628.
- Carr E.H. *Nationalism and After*, London, Macmillan, 1945, 73 p.
- Chang H.-J. 2003. Introduction, *Chang H.-J. (ed.) Rethinking Development Economics*, London, Anthem Press, pp. 1-18.
- Coates D. 2000. *Models of Capitalism: Growth and Stagnation in the Modern Era*, Cambridge, Polity, 320 p.
- Cohen St.F. 2000. *Failed Crusade: America and the Tragedy of Post-Communist Russia*, New York, WW Norton, 304 p.
- Conaghan C.M., Malloy J.M., Abugattas L.A. 1990. Business and the “boys”: the politics of neoliberalism in the Central Andes, *Latin America Research Review*, vol. 25, iss. 2, pp. 3-30.
- Cooper W.H. 2009. *Russia's Economic Performance and Policies and their Implications for the United States*, Washington, DC, Congressional Research Service, 26 p.
- Cronin J. 1982. Labor insurgency and class formation: comparative perspectives on the crisis of 1917–1920 in Europe, *Cronin J.E., Sirianni C. (eds.) Work, Community and Power: The Experience of Labor in Europe and America, 1900–1925*, Philadelphia, PA. Temple Univ. Press.
- Dorwart R.A. 1971. *The Prussian Welfare State before 1740*, Cambridge, MA, Harvard Univ. Press, 328 p.
- Doyle M.W. 1997. *Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism*, New York, WW Norton, 557 p.
- Eversley D.E.C. 1967. The home market and economic growth in England, 1750–1780, *Jones E.L., Mingay G.E. (eds.) Land, Labour, and Population in the Industrial Revolution*, London, Arnold.
- Geary D. 1981. *European Labour Protest, 1848–1939*, London, Croom Helm, 195 p.
- Gillis J.R. 1983. *The Development of European Society, 1770–1870*, Boston, Houghton Mifflin, xvi, 300 p.
- Halperin S. 2004. *War and Social Change in Modern Europe: The Great Transformation Revisited*, Cambridge, Cambridge Univ. Press. 540 p.
- Harman C. 1988. *The Fire Next Time: 1968 and After*, London, Bookmarks, x, 406 p.
- Harris N. 1987. *The End of the Third World: Newly Industrializing Countries and the Decline of an Ideology*, New York, Meredith Press, 231 p.

- Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J. 1999. *Global Transformations. Politics, Economics and Culture*, Stanford, CA, Stanford Univ. Press, 515 p.
- Hettne B. 1995. *Development Theory and the Three Worlds*, 2<sup>nd</sup> ed., Harlow, Longman, 319 p.
- Hirschman A. 1981. The rise and decline of development economics, *Hirschman A.O. Essays in Trespassing*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, pp. 1-24.
- Hobsbawm E. 1968. *Industry and Empire*, London, Weidenfeld and Nicolson, 336 p.
- Hoogvelt A. 1997. *Globalisation and the Post Colonial World: The New Political Economy of Development*, London, Macmillan, xvi, 291 p.
- Howard M. 1961. *The Franco-Prussian War: The German Invasion of France, 1870–1871*, London, Rupert Hart-Davis, 512 p.
- Katsiaficas G. 1987. *The Imagination of the New Left: A Global Analysis of 1968*, Boston, South End Press, xv, 323 p.
- Kuznets S. 1957. Quantitative aspects of the economic growth of nations – II. Distribution of national product and labor force, *Economic Development and Cultural Change*, vol. 5, iss. 4 Suppl., pp. 1-111.
- Ladejinsky W. 1959. Agrarian revolution in Japan, *Foreign Affairs*, vol. 38, no. 1, pp. 95-109.
- Lal D (2003) *The Poverty of Development Economics*. London: Institute of Economic Affairs.
- Landy P (1961) Reforms in Yugoslavia. *Problems of Communism* Nov.–Dec.
- Leeson P.F. 1988. Development economics and the study of development, *Leeson P.F., Minogue M.M. (eds.) Perspectives on Development: Cross-disciplinary Themes in Development Studies*, Manchester, Manchester Univ. Press, pp. 1-55.
- Lie J. 1993. Visualizing the invisible hand, *Politics & Society*, no. 21, iss. 3. pp. 275-305.
- Lipski J.J. 1989–1990. *In defense of socialism. Across Frontiers*. Fall/Winter.
- Lis C., Soly H.S. 1979. *Poverty and Capitalism in Pre-Industrial Europe*, Sussex, Harvester Press, xvi, 267 p.
- Maier Ch. 1975. *Recasting Bourgeois Europe*, Princeton, NJ, Princeton Univ. Press, 650 p.
- Marwick A. 1980. *Image and Reality in Britain, France, and the U.S.A. since 1930*, London, Collins. 416 p.
- Mouzelis N. 1988. Sociology of development: reflections on the present crisis, *Sociology*, vol. 22, iss. 1, pp. 23-44.
- Ogg F.A. 1930. *Economic Development of Modern Europe*, New York, Macmillan, xvi, 861 p.
- Parkin F. 1969. Class stratification in socialist societies, *British Journal of Sociology*, vol. 20, iss. 4, pp. 255-274.
- Przeworski A. 1979. The material bases of consent, *Political Power and Social Theory*, no. 1, pp. 21-63.
- Ranis G., Schultz T.P. (eds.) 1988. *The State of Development Economics: Progress and Perspectives*, Oxford, New York, NY, USA : Basil Blackwell. 635 p.
- Robinson W.I., Harris J. 2000. Towards a global ruling class? Globalization and the transnational capitalist class, *Science & Society*, vol. 64, iss. 1, pp. 11-41.
- Royle T. 1999. *Crimea: The Great Crimean War, 1854–1856*, Boston, Little Brown and Company, 564 p.
- Schonfield A. 1965. *Modern Capitalism*, London, Oxford Univ. Pres, xvi, 456 p.
- Schumpeter J.A. 1951. Economic theory and entrepreneurial history, *Clemence R.V. (ed.) Essays on Economic Topics of Joseph Schumpeter*, Port Washington, NY, Kennikat Press.

- Seers D. 1979. The birth, life, and death of development economics, *Development and Change*, vol. 10, iss. 4, pp. 707-719.
- Sen A. 1981. Development: which way now?, *Economic Journal*, vol. 93, iss. 372, pp. 745-762. DOI 10.2307/2232744
- Silver B., Slater E. 1999. The social origins of world hegemonies, *Arrighi G., Silver B.J. (eds.) Chaos and Governance in the Modern World System*, Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, pp. 151-216.
- Slack P. 1990. *The English Poor Law, 1531–1782*, London, Macmillan, 79 p.
- Streeten P. 1983. Development dichotomies, *World Development*, vol. 11, iss. 10, pp. 875-889.
- Taborsky E. 1961. *Communism in Czechoslovakia, 1948–1960*, Princeton, NJ, Princeton Univ. Press, xii, 628 p.
- Taithe B. 2001. *Citizenship and Wars: France in Turmoil, 1870–1871*, London, New York, Routledge, viii, 263 p.
- Thompson E.P. 1991. *Customs in Common: Studies in Traditional Popular Culture*, London, Merlin Press, 547 p.
- Tipton F.B., Aldritch R. 1987. *An Economic and Social History of Europe: From 1939 to the Present*, Baltimore, MD, The Johns Hopkins Univ. Press, vii, 297 p.
- Tismeneanu V. 1989. Democracy, what democracy?, *East European Reporter*, no. 4, p. 2.
- Toye J.F.J. 1987. *Dilemmas of Development: Reflections on the Counter-Revolution in Development Theory and Policy*, Oxford, Basil Blackwell, 177 p.
- United Nations Statistics*, 2000.
- van der Pijl K. 1998. *Transnational Classes and International Relations*, London, Routledge. DOI 10.2307/2492781
- Vanderveelde E. 1925. Ten years of socialism in Europe, *Foreign Affairs*, vol. 3, iss. 4, pp. 556-566.
- von Lazar J. 1966. Class struggle and socialist construction: the Hungarian paradox, *Slavic Review*, vol. 25, iss. 2, pp. 303-313.
- Wallerstein I. 2006. The curve of American power, *New Left Review*, no. 40 (July–August), pp. 77-94.
- Watts M. 2001. 1968 and all that... *Progress in Human Geography*, vol. 25, iss 2, pp. 157-188. DOI 10.1191/030913201678580467
- Williams K., Williams J., Haslam C. 1989. Do labor costs really matter?, *Work, Employment, and Society*, vol. 3, iss. 3, pp 281-305.
- World Bank. 1998. *World Development Indicators – 1998*, Washington, DC, World Bank, 390 p.
- World Bank. 1999. *World Development Indicators – 1999*, Washington, DC, World Bank, available at: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**Сандра Гальперин**

профессор международных отношений и содиректор Центра глобальной и транснациональной политики факультета политики и международных отношений Роял Холлоуэй (Лондонский университет), г. Лондон, Великобритания;  
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3556-2540>;  
E-mail: [sandra.halperin@rhul.ac.uk](mailto:sandra.halperin@rhul.ac.uk)

**Sandra Halperin**

Department of Politics and International Relations, Royal Holloway, University of London, Egham, Surrey, UK TW20 OEX, United Kingdom;  
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3556-2540>;  
E-mail: [sandra.halperin@rhul.ac.uk](mailto:sandra.halperin@rhul.ac.uk)



Каминер Т. В ловушке настоящего: планирование, архитектура и время постмодерна. DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_119 // Антиномии. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 119–135.

УДК 130.2:72.01

DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_119

## **В ловушке настоящего: планирование, архитектура и время постмодерна**

**Тал Каминер**

Кардиффский университет, Уэльская школа архитектуры,  
г. Кардифф, Уэльс, Великобритания  
E-mail: kaminert@cardiff.ac.uk

*Поступила в редакцию 05.06.2022*

Хотя понятие «постмодернизм», возможно, исчерпало себя, темпоральность нашей эпохи по-прежнему находится в ловушке постмодернистского сознания времени, «сейчас-времени», что проявляется в краткосрочных целях правительств и истощении планирования, в низких процентных ставках, поощряющих расходы вместо накоплений, в доминировании принципа быстрого получения результата, а также в «курировании» культуры с помощью социальных сетей. Новые концепции времени имели ключевое значение для перехода от традиционных обществ к современным, что прежде всего проявилось в утверждении идеи линейного времени вместо представлений о циклической темпоральности. В данной статье выделены три темпоральных режима, сложившихся в рамках модерности: режим, сфокусированный на прошлом, который имел решающее значение в эпоху Просвещения и сопровождался появлением историографии; режим, ставящий в центр внимания будущее, который можно связать с появившимися в то время утопиями Сен-Симона и Шарля Фурье и который достиг своего предела вместе с возникшей после Второй мировой войны системой планирования послевоенного периода; и режим, ориентированный на настоящее, который ассоциируется с постмодерностью. Показано, что все эти три типа темпорального сознания являются современными и отличаются от представлений о времени в традиционных обществах. В статье понятие темпоральности рассматривается через ключевые проблемы наших городов, сквозь призму архитектуры и городского планирования, для которых категория времени играет решающую роль.

*Ключевые слова:* время, постмодернизм, модернизм, современность, архитектура, планирование



© Каминер Т., 2022



# Trapped in the Present: Planning, Architecture and Postmodern Time

**Tahl Kaminer**

Cardiff University, Welsh School of Architecture,  
Cardiff, Wales, U.K.

E-mail: kaminert@cardiff.ac.uk

*Received 05.06.2022*

*Abstract.* While the term ‘postmodernism’ may have been exhausted, the temporality of our own era remains trapped in a postmodern consciousness of time, a ‘now-time’, visible in the short-term focus of governments and the emaciation of planning, in low interest rates encouraging spending rather than saving, in the dominance of immediate gratification, in the ‘curation’ of culture via Instagram and social media. Modern conceptions of time were vital in the transition from traditional to modern societies – namely, the emergence of the idea of linear time instead of cyclical notions of temporality. This chapter will identify three temporal modes within modernity: the focus on the past, which was critical in Enlightenment and was accompanied by the emergence of modern historiography; the focus on the future, which begins with the modern utopians Saint Simon and Charles Fourier and reaches its nadir with postwar planning; and the focus on the present, which will be associated with neoliberalism and postmodernity. All these, it will be argued, are modern, and differentiated from traditional societies’ temporalities. The following chapter will anchor these temporal notions in key issues relating to our cities via the lenses of architecture and planning, two disciplines in which time plays a crucial part.

*Keywords:* time; postmodernism; modernism; modernity; architecture; planning

*For citation:* Kaminer T. Trapped in the Present: Planning, Architecture and Postmodern Time, *Antinomies*, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 119-135. (in Russ.). DOI 10.17506/26867206\_2022\_22\_3\_119.

Осколки некогда прочной системы государственного экономического, пространственного и социального планирования сегодня можно увидеть повсюду. Истощение системы планирования за последние четыре десятилетия привело к появлению фрагментированной застройки, способствовало возвращению экономических циклов подъемов и спадов и сделало невозможной подготовку к таким бедствиям, как пандемия коронавируса. Еще совсем недавно в странах Восточного блока, Северной Европы или Северной Америки экономическое, пространственное и социальное планирование являлось основой системы принятия решений для органов местного и центрального управления, устанавливая принцип *предварительного* (ex-ante) прямого распределения средств в соответствии со стратегическими предпочтениями правительств. Упадок этих систем явился прежде всего следствием политик дерегуляции и либерализации, которые предоставили рынку возможность распределять ресурсы исходя из *оценки фактических результатов* (ex-post), то есть опосредованно, а не следуя принципу заблаговременности.

Хорошо заметное воздействие неолиберальной идеологии и политики на истощение системы планирования не должно заслонять суть этого процесса в более широкой перспективе, где возможна ассоциация с постмодерностью и в особенности с сосредоточением темпорального фокуса на настоящем, то есть на «сейчас-времени». В этом разделе статьи будут рассмотрены три различных вида темпорального сознания модерности и постмодерности, чтобы объяснить текущее доминирующее положение «сейчас-времени» и его влияние на повседневную жизнь, управление и социальные структуры, но прежде всего на архитектуру, городское планирование и город. Это потребует обращения к вопросу о постмодернизме и постмодерности, а также экскурса в историю ранних этапов становления модерности и современных дисциплин, связанных с изучением пространства, архитектуры и городского планирования.

Термин «постмодернизм», введенный в оборот Арнольдом Тойнби, получил популярность благодаря книге Чарльза Дженкса 1977 г. «Язык архитектуры постмодернизма» (Jencks 1977). Это был тот редкий случай, когда архитектурная теория вырабатывала идеи, термины и понятия, которые затем широко распространялись и присваивались другими дисциплинами. Громкое заявление Дженкса о смерти модернистской архитектуры передавало настроение эпохи и широко цитировалось: «К счастью, мы можем датировать смерть “новой архитектуры” точным моментом времени. <...> “Новая архитектура” умерла шумно. То, что многие не заметили этого и никто не скорбел, нисколько не умаляет значения факта, а то, что многие проектировщики все еще пытаются вдохнуть в эту архитектуру жизнь, не значит, что она может быть чудесным образом воскрешена. <...> “Новая архитектура” умерла в Сент-Луисе, Миссури, 15 июня 1972 года в 3:32 пополудни (или около того), когда пользовавшийся дурной славой квартал Прютт-Айгоу, а точнее, несколько его корпусов были взорваны динамитом. Это был *coup de grâce*<sup>1</sup>» (Jencks 1977: 9; Дженкс 1985: 14)<sup>2</sup>.

На тот момент постмодернизм и постмодерность были поглощены критикой модернистского искусства и архитектуры, а также широкой критикой современности в целом (см., напр.: Jameson 2005; Harvey 1990), являя о радикальном разрыве с духом и догматами модерности, которые стимулировали развитие обществ на протяжении как минимум столетия.

Эти дискуссии, которые продолжались 20–25 лет, сейчас кажутся устаревшими и принадлежащими какой-то совсем другой эпохе. Провокативное описание постмодерности как всего лишь одного из «пяти лиц» модерности, предложенное Матеем Калинеску в 1987 г., сегодня нашло свое подтверждение: постмодерность, что теперь вполне очевидно (см.: Calinescu 2003), закладывала в свою основу идеи, пусть и считавшиеся маргинальными на тот момент, которые являлись неотъемлемой частью модерности, и одновременно отодвигала на второй план все другие. Происходила реорганизация

---

<sup>1</sup> Смертельный удар. – Фр.

<sup>2</sup> Здесь и далее ссылки на цитаты, которые приводятся по русским переводам, представлены комплексно. – Пер.

крупного проекта модерности изнутри. Это было сдвигом, изменением, но никак не радикальным разрывом, как утверждалось в 1980-е и 1990-е гг.

Из всего разнообразия черт и идей, которые использовались для того, чтобы провести различие между постмодерном и модерном, в этой статье, как было отмечено выше, будет рассмотрена трансформация восприятия времени. Новые представления о времени имели важнейшее значение для перехода от традиционных обществ к современным – это, в частности, проявилось в утверждении сознания линейного времени вместо циклического понимания темпоральности. В этой статье будут представлены три темпоральных режима, сложившихся в рамках модерности: режим, сфокусированный на прошлом, который имел решающее значение в эпоху Просвещения и сопровождался появлением историографии; режим, ставящий в центр внимания будущее, который можно связать с появившимися в то время утопиями Сен-Симона и Шарля Фурье и который достиг своего предела вместе с возникшей после Второй мировой войны системой планирования послевоенного периода; и режим, ориентированный на настоящее, который ассоциируется с постмодерностью. Будет показано, что все эти три типа темпорального сознания являются современными и отличаются от представлений о времени в традиционных обществах. Ни один из них не ограничен каким-то конкретным периодом новой эпохи. Они существуют – и существовали до этого – бок о бок. Тем не менее в каждой из трех рассматриваемых здесь эпох – ранней модерности, зрелой модерности и постмодерности – доминировали разные темпоральные типы.

Хотя понятие «постмодернизма», возможно, исчерпало себя, темпоральность нашей собственной эпохи продолжает пребывать в состоянии дискредитированного «настоящего» («present-ness»), что, как уже отмечалось выше, наглядно проявляется в краткосрочных целях правительств, в поощрении расходов вместо накоплений, в доминировании принципа быстрого получения результата, в «курировании» культуры и политики идентичности посредством социальных сетей, таких как Инстаграм<sup>1</sup>. В этой статье понятие темпоральности будет рассмотрено через ключевые проблемы наших городов, сквозь призму архитектуры и городского планирования, для которых категория времени играет решающую роль.

### **Линейное время и современность**

Идея прогресса была одной из ключевых составляющих модерности, возможно, второй после разума. Для того чтобы возник прогресс, была необходима линейная концепция времени. Линейное время, связанное с христианскими представлениями о спасении в конце времен, в эпоху Средневековья было маргинальным. В обществе того периода преобладали языческие представления о циклическом времени, характерные для традиционных аграрных обществ. Циклические концепции связывали время со

---

<sup>1</sup> Принадлежит компании «Meta», которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. – *Ред.*

сменой времен года, с сельскохозяйственным календарем, с повседневным пониманием жизни в таком контексте. В феодальной Европе эти представления сочетались с теологическими идеями, которые подчеркивали противопоставление преходящей жизни и вечной смерти.

Калинеску связывает первоначальное распространение линейного времени с изобретением в конце XIII в. механических часов, что позволило появиться измеримому рациональному времени, которое также могло стать товаром и краеугольным камнем капитализма (Calinescu 2003). Кристина Смит обнаружила зарождающуюся идею прогресса в виде развертывания идей инновации и оригинальности уже в письме Альберти к Брунеллески, которое предвзяло оригинальное издание «Della Pittura» 1436 г.: цель письма, по ее мнению, «заключается в аргументации понимания исторического процесса как культурного прогресса» (Smith 1992: 21).

Восприятие Античности в эпоху Возрождения было основано лишь на фрагментах знаний, предположениях и ощущениях, а не на достоверных данных. В тот момент переоткрытие Античности только начиналось, в частности с переоткрытием Витрувия в 1415 г., а также восстановлением текстов Плиния Старшего и работ Архимеда. «Классицизм» того периода основывался на заблуждениях и предрассудках. Однако к середине XVII в. всестороннее изучение Античности уже шло полным ходом. Чем больше ученые и путешественники XVII в. изучали Античность, тем менее твердую почву они обнаруживали. Все, что архитектору эпохи Возрождения казалось «фиксированным», например ордера и пропорции, для ученого XVII и начала XVIII в. являлось гораздо менее очевидным. Античность все меньше и меньше представлялась прочной, стабильной идеей, «классикой». В поисках трансцендентальных правил классицизм сам все больше представлял темпоральным, множественным и трансформирующимся.

В книге «О порядке пяти видов колонн в соответствии с методом древних» (1683) Клод Перро, критикуя архитектурную традицию, подверг сомнению трансцендентный характер классической архитектуры и поставил под вопрос установившиеся представления о пропорциях в пяти ордерах (см.: Rykwert 1980: 33). Вывод Перро заключался в том, что в определенных пределах пропорции никогда не бывают фиксированными, они меняются, подрывая любые представления о точности и трансцендентности (см.: Rykwert 1980: 38-39). Эти вопросы были подняты в споре между древними и новыми, *Querelle des Anciens et des Modernes*, центральное место в котором занимала сама история и который в Великобритании нашел свое отражение в «Битве книг»<sup>1</sup>. К Античности относились с таким почтением, что любая попытка превзойти ее считалась вызывающей. Впрочем, после достижений Италии эпохи Возрождения и особенно великолепия Франции при Людовике XIV величие древних стало казаться уже не таким недостижимым. Брат Клода Перро Шарль был одним из лидеров лагеря «новых». Он писал, что радуется, «видя, что наш век в некотором роде достиг вершины

---

<sup>1</sup> Памфлет (1697) Дж. Свифта, в 1704 г. опубликованный как введение к его памфлету «Сказка бочки». – Пер.

совершенства»: «И если в течение нескольких лет прогресс продвигается все медленнее... я все равно радуюсь, думая, что, по всей вероятности, у нас не слишком много поводов для зависти к тем, кто придет после нас» (цит. по: Rukwert 1980: 28). Философ Юрген Хабермас усмотрел в споре между древними и новыми раннюю концептуализацию истории: «Партия “новых” восстала против самосознания французской классики, уподобив аристотелевское понятие полной осуществленности понятию прогресса, внушенному естествознанием модерна. “Новые” с помощью историко-критических аргументов поставили под вопрос смысл подражания античным образцам, выработали в противовес нормам абсолютной красоты, которая кажется отрешенной от времени, критерии обусловленного временем, или относительного, прекрасного, сформулировав тем самым самопонимание французского Просвещения как начала новой эпохи» (Habermas 1987: 8; Хабермас 2003: 14).

Современные карлики, стоящие на плечах древних гигантов, выступали метафорой того, как накапливается знание с течением времени. Такой подход, по-прежнему предполагавший, что древние были великанами, но в то же время намекавший, что, пользуясь достижениями древних, современные люди могут накапливать знания и видеть дальше предков, преподносился в качестве решения спора. Однако на тот момент идея прогресса была ориентирована на знания и все большее применение разума, а не на идеалы красоты, которые продолжали считаться вечными. «Новые» видели прогресс в цивилизованности, в лучшем, чем у их предшественников, понимании идеала красоты через накопление знаний и способность устанавливать более жесткие правила для воплощения принципов классицизма. На протяжении всего спора настоящее воспринималось как конечный результат прогресса. Хабермас отмечал, что «профанное понятие нового времени выражает убеждение, что будущее уже началось» (Habermas 1987: 5; Хабермас 2003: 12).

Метафору «карлики на плечах гигантов» в конечном счете сменила идея человечества как взрослеющего ребенка – образ, предложенный Фрэнсисом Бэконом и ставший отражением эволюционной трансформации и прогресса. Этот образ также предлагал темпоральную коррекцию предшествующих представлений, указывая на то, что сам мир в современную эпоху был более древним, а в древности, по сути, молодым. Растущее понимание времени как линейного породило медленный упадок архитектурного классицизма. Позднее барокко и рококо воспринимались как легкомысленные; последнее имело ограниченную поддержку в академической среде и никогда не создавало полноценных теорий для обоснования своих работ. На протяжении XVIII в. архитектура переживала своего рода кризис – отсутствие направления, отсутствие уверенности. По сути, классицизм был подорван идеей исторической перспективы; кризис был вызван новым представлением о времени.

В 1750 г. французский экономист и философ Жак Тюрго опубликовал статью «Последовательные успехи человеческого разума» (Turgot 1973), в которой описывался цикл сменяющих друг друга периодов, заканчивающихся гибелью [цивилизованного мира] и возвращением к варварству. Рас-

суждения автора были построены вокруг идеи прогресса. Работа Тюрго оказала большое влияние на его современников.

В последующие десятилетия историческая концепция времени стала доминирующей. «С этим связаны новый опыт поступательного движения и ускорения исторических событий, а также осознание хронологической одновременности исторически неодновременных процессов развития», – писал Хабермас (Habermas 1987: 6; Хабермас 2003: 12). К этому времени материальный и культурный прогресс обычно объединялись и понимались как часть общего, всеобъемлющего прогресса человечества. При этом если способы оценки прогресса в области технологий или знаний вполне допустимы, то применение рациональной идеи прогресса к искусству достаточно противоречиво. Если, конечно, под искусством не понимать технические дисциплины или сферы, основанные на знаниях. А способ понимания искусства, который привязывал его к знанию, был, разумеется, центральным для трансформации искусства в эпоху Возрождения из вида ремесленной деятельности в область гуманитарных наук – для архитектуры такими знаниями были геометрия и черчение.

Книга Иоганна Иохима Винкельмана «История искусства древности», опубликованная в 1764 г., в полной мере отразила состояние современной автору историографии (см.: Winkelmann 2006). Помимо значения труда этого историографа для становления неоклассицизма и определения принципов красоты, созданная им историческая перспектива гораздо лучше раскрывала идею художественного прогресса, чем анекдотические и плохо организованные сочинения Вазари<sup>1</sup>. По сути, «История искусства древности» сформулировала идею художественного и архитектурного прогресса в форме исторической работы.

### Страх перед будущим

Широкое распространение идеи о линейном времени и формирование идей прогресса в XVIII в. привели к беспокойству о будущем, проистекающему из особого внимания эпохи к падению Древнего Рима и из неопределенности, вызванной новым пониманием времени. Архитектурная дисциплина около 1750 г. отреагировала на эти меняющиеся условия и ощущение кризиса тремя различными способами: постулированием истории происхождения, поиском вдохновения в экзотике и вниманием к руинам.

Интерес к примитивной хижине – со стороны Ложье, Чемберса и других – был попыткой спасти архитектуру, нащупав ее «твердую почву», но не через поиск каких-то вневременных основ, как в случае с классицизмом, а в стремлении найти то, что находится в самом начале, историю истоков. Таким образом, собственная история архитектуры включается в историю человеческой цивилизации. Линейность времени при таком подходе становилась очевидной, и, следовательно, примитивная хижина предлагала весьма

---

<sup>1</sup> Пяти томный труд «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550–1568) Джорджо Вазари. – *Пер.*

ограниченные средства для того, чтобы архитектура могла справиться со своими тревогами.

Другой реакцией было увлечение экзотикой – ответ на быстрое развитие идеи линейного времени и следствие роста торговли с Дальним Востоком, чему способствовали далеко идущие меркантилистские устремления Европы. Подобно классицизму, который искал правила, почерпнутые из древности, находящейся на временном расстоянии «бесконечности», квазикитайские эксцентричные фолли лондонских Королевских ботанических садов Кью преодолевали время, ища вдохновение на географическом расстоянии «бесконечности». Как и в случае с примитивной хижинкой, экзотика предлагала ограниченное решение – ответ, не отличающийся от классицизма в своем «внешнем» отношении к вопросу времени, однако не менее, а, возможно, и более очевидный – сказку, миф.

Третьей реакцией стало увлечение руинами. Руины служили главным средством защиты от разрушительного влияния времени: что такое руина, если не «классика», нечто, что «вышло» из линейного времени, строение, у которого была история, но которое теперь пребывает в «вечном» состоянии разрушения. Идея руин делает видимым страх, вызванный восприятием линейного времени: страх перед разрушением, а также перед тривиализацией поступательно движущимся временем. Увлечение руинами привело к возникновению неоклассицизма, поскольку многие руины, изображенные на рисунках и воссозданные в фолли, были квазиримскими; оно также привело к меланхоличному «взгляду в прошлое» романтизма. Руины помогали создавать живописные пейзажи, поскольку воспринимались как квазиприродные элементы. Интерес к руинам говорит о нерешительном взгляде в будущее, а не только в прошлое – о страхе перед грядущей гибелью общества эпохи Просвещения.

Уильям Чемберс предположил, что фолли и фальшивые руины выполняли определенную функцию: формировали сознание истории. «Отмечая события прошлого и чувствуя известных личностей, – писал он о китайских парковых фолли, – они побуждают ум к приятному созерцанию, унося наши размышления в самую далекую эпоху древности...» (цит. по: Crook 1987: 21). Тем не менее такой «отбор» памятных событий лишен хронологии исторического времени – история, по сути, оказывается «сплюсненной» на одной плоскости пространства/времени.

Офорты Пиранези, на которых представлен воображаемый Рим, знаменуют собой начало этой эпохи неопределенности и потому полны противоречий и двусмысленностей. В его работах интерес к руинам, строгое использование рисунка как средства исследования, увлечение Древним Римом – или зарождающийся неоклассицизм – сочетаются с фантазией, воображаемой археологией и возвышенным, что свидетельствует о набирающем силу романтизме. В серии гравюр Пиранези «Кампо Марцио» (рис. 1) воображаемый Древний Рим – это новый город, который несколько десятилетий спустя станет идеальным для свободного рыночного капитализма: город, который демонстративно отказывается от всеохватывающей «тесной» планировки Ренессанса, барокко и неоклассицизма (Tafuri 1976).

Здесь каждый элемент пользуется полной свободой от городского целого, эта планировка свидетельствует о фрагментации и атомизации *Cité*, то есть, по сути, современного общества. Такая свободная планировка позднее материализовалась в жесткой сетке североамериканских городов и в ранней пригородной застройке городов Запада (Tafari 1976: 38).



Рис. 1. Джованни Батиста Пиранези. Кампо Марцио (Il campo Marzio dell'antica Roma). 1762

Пожалуй, самым ярким свидетельством этих тревог, появившимся позже, стала картина Джозефа Ганди 1830 г., изображающая только что построенный Банк Англии в руинах. Шедевр сэра Джона Соуна был мощным символом значимости и величия Британской империи. Сравнение Британской империи с Римской отражало уверенность британцев в своих достижениях, однако аналогия и историческая перспектива одновременно порождали страх перед возможной гибелью их общества. Картина Ганди, написанная по заказу самого Соуна, прекрасно передает противоречивое состояние уверенности в своих силах и экзистенциальной тревоги. Она также отражает стремление самой современности побороть прогресс, преодолеть время,



став классикой, пусть даже в виде руин. «Актуальность может конституировать себя только лишь как точка пересечения времени и вечности», – отмечал Хабермас. «Этим непосредственным соприкосновением актуальности и вечности модерн, однако, избавляется не от своей неустойчивости, а от тривиальности... <...> Модерн проявляет себя как то, что однажды станет классическим» (Habermas 1987: 9; Хабермас 2003: 15).

Архитектурный неоклассицизм, возникший из увлечения руинами Античности, не был простым повторением классицизма эпохи Возрождения. Это была последняя попытка остановить время, цепляясь за идею классики, несмотря на все свидетельства против нее, как, например, знание о том, что мраморные и другие каменные сооружения и статуи Античности были не белыми, а раскрашенными в разные цвета, что ордера не были фиксированными и что темпоральность существовала и в Античности. Тем не менее неоклассицизму так и не удалось установить строгие правила, позволяющие выйти за пределы времени. Работы Леду, Соуна и других авторов продемонстрировали отказ от догм и приверженность инновациям в ущерб вневременности.

Борьба с поступательно движущимся временем на этом не была завершена. Романтизм и его архитектурные ответвления – живописный стиль, готическое возрождение и, позднее, декоративно-прикладное искусство – противостояли прогрессу и линейному времени, обращаясь к идеализированному домодерному прошлому. Однако такой ракурс неизбежно оказывался историческим: если первобытная хижина постулировала идеал доисторической эпохи, то средневековая эпоха, которую боготворил романтизм, находилась в рамках исторического времени и, следовательно, утверждала его линейность, что неизбежно позволило появиться архитектуре, которая в большей степени была ориентирована в будущее.

Период раннего модерна, таким образом, свидетельствовал о постепенном распространении идеи линейного времени и формировании понятия прогресса. Это подкреплялось и сопровождалось исторической перспективой – представлением о цивилизационном прогрессе в истории человечества. Как только это представление утвердилось к концу XVIII в., возрос интерес к будущему – страх перед разрушением и падением. Эти изменения прекрасно отразили возникшие в то время социальные утопии Сен-Симона и Фурье.

В классических утопиях – в «Государстве» Платона и у Томаса Мора – время оказывается застывшим, остановившимся. Такие утопии описывают идеальное общество, находящееся на расстоянии бесконечности как с точки зрения времени (прошлого), так и в географическом смысле. Они пребывают вне истории и, по сути, находятся вовне по отношению к нашему времени и пространству. Классические утопии носят дидактический характер, описывая модели, которым следует подражать, а не творчески претворять в жизнь. Однако, как только идея прогресса утвердилась, утопии стали обращать свое внимание на будущее. Вместо того чтобы пребывать вне времени, новые утопии были включены в линейное время, расположившись в его конце. Таким образом, в новых утопиях, как, например, у Фурье и Сен-Симона, «замораживание» времени происходило в конце прогресса, опи-

сывалось направление, в котором должен развиваться прогресс. Прогресс, таким образом, выступал скорее положительным, чем отрицательным явлением – развитие времени шло на пользу обществу. «Золотой век не позади нас, а впереди... – гласил лозунг сенсимонистов. – [Он] будет реализован с помощью совершенного общественного устройства» (цит. по: Rowe, Koetter 1978: 20; Кеттер, Роу 2018). Как только утопия будет реализована, наступит конец времени – и прогресс закончится.

Переход от ранней модерности к зрелой современности с ее сознанием времени отражен не только в появившихся современных утопиях, но и в работах Гегеля, который считал, что философия истории предлагает решение противоречий современности. «Вследствие того, что модерн пробуждается к самосознанию, – писал Хабермас, – возникает потребность в самоподтверждении, которую Гегель трактует как потребность в философии» (Habermas 1987: 16; Хабермас 2003: 17-18). Ключевое понятие, заимствованное у Гегеля, *zeitgeist*, или дух времени, рассматривалось Калинеску как свидетельство сосредоточенности на настоящем; однако в этом отношении оно неоднозначно – *zeitgeist* очевидно опирается на идею исторического времени, но его «настоящее» ограничено, что показано на фронтиспise 1808 г. «Изменения в архитектуре» ландшафтного дизайнера Хамфри Рептона (рис. 2). На этой работе Рептона время символизируют песочные часы, а смерть – коса; вдали виднеется ряд холмов, на каждом из которых стоит сооружение в особом архитектурном стиле. Ближайший холм, украшенный строением, изображающим грядущий стиль, скрыт за кустарником. В этой работе сознание прогрессивного времени и *zeitgeist* затемнено неуверенностью, сомнением, страхом тривиализации и смерти. По сути, *zeitgeist* служил способом интеграции архитектуры в общественный прогресс.



Рис. 2. Хамфри Рептон. Изменения в архитектуре. Фронтиспис. 1808

### Планирование и город

Описанные выше трансформации в осознании времени сопровождались структурными изменениями в обществе. Города стали эпицентрами общественной жизни и экономики: сначала благодаря росту торговли, особенно в портах; затем, с возникновением национального государства, в них начала концентрироваться растущая государственная бюрократия; и в конечном итоге города стали средоточием промышленного производства. В XIX в. переход к капиталистической экономике сделал города центрами спекулятивных инвестиций в недвижимость.

Массовая урбанизация в сочетании с давлением рынка создала город, находящийся в постоянном движении: динамичный, непредсказуемый, неуправляемый. Это привело в 1800-х гг. к принятию своего рода подзаконных правовых актов – робких попыток регулирования застройки и ограничения свободы застройщиков. В XIX столетии в таких странах, как Германия и – в меньшей степени – Великобритания, вводилось все больше правил в сфере градостроительства и происходило расширение полномочий местных органов власти: сначала муниципалитеты получили право сносить, а затем и строить. Там, где раньше царил хаос, несогласованность и ждало неизвестное будущее, теперь становилось все больше упорядоченности. Тенденция к регулированию, а затем и к планированию уменьшила неопределенность, наконец-то заменив зависимость от обстоятельств планом.

Экономическое, социальное и территориальное планирование возникло как следствие опыта двух мировых войн: государственная военная экономика предполагала, что решения относительно особых потребностей, таких как строительство завода по производству боеприпасов, являются не результатом действия рынка, а принимаются правительством, которое также выделяет для этих целей рабочих и решает, где разместить завод и где построить дома для работников. Такие решения включали в себя все три формы планирования. Экономический крах 1929 г. и последовавшая за ним Великая депрессия послужили мощным политическим импульсом для ограничения чрезмерного влияния свободного рынка.

После Второй мировой войны стала повсеместно внедряться практика территориального планирования. Такое планирование явилось реакцией на сформированное свободным рыночным капитализмом фрагментарное, хаотичное и опасное для здоровья развитие городов, а также на беспокорство и неопределенность, вызванные прогрессивно развивающимся временем, и выступило средством контроля будущего, реализации желаемого, идеального устройства общества, подчинения самого времени тому, что считалось общественным интересом. Экономическое планирование, в разной степени практикуемое во всем мире путем внедрения теорий Кейнса, преуспело в предотвращении циклов подъемов и спадов, характерных для эпохи либерализма свободного рынка. Политика государственной поддержки и взаимное страхование способствовали росту стабильности рабочих мест, а будущее казалось менее угрожающим и уже меньше напоминало неизвестную величину.

Критика фордистского города, которая всерьез началась с вышедшей в 1961 г. книги Джейн Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов» (Jacobs 2011), повторяла критику планового общества, сложившегося в скучных, однотипных, построенных по плану послевоенных пригородах, в которых, по мнению Джекобс и других авторов, отсутствовала жизнь, спонтанность, различия и творчество. Подобные процессы происходили и в откровенно технократическом обществе, в котором индивидuum должен был быть полностью поглощен «управляемым» социумом. Планирование подвергалось особому осуждению Джекобс, которая отмечала, что ее книга – это «атака на нынешнюю градостроительную систему» (Jacobs 2011: 1; Джекобс 2011: 17). При этом в своей критике она шла дальше: «Если оказывается, что перестроенные городские территории и нескончаемые участки новой застройки, распространяющиеся вокруг больших городов, превращают и их, и загородную местность в одну сплошную малопитательную размазную, ничего странного в этом нет. Все это одно и то же полученное из первых, вторых, третьих или четвертых рук интеллектуальное месиво, в котором свойства, нужды, преимущества и особенности функционирования крупных городов полностью перемешаны со свойствами, нуждами, преимуществами и особенностями функционирования других, более инерционных типов расселения» (Jacobs 2011: 9; Джекобс 2011: 20).

Растущая безработица среди неквалифицированных рабочих в западных странах конца 1960-х – начала 1970-х гг., вызванная автоматизацией, оказала непосредственное влияние на многие построенные по плану пригороды и крупные жилищные комплексы послевоенного периода, которые были спроектированы для рабочих. Здесь росла бедность, расходы на содержание зданий и общественного пространства урезались из-за истощающих трат на перегруженный городской административный аппарат, и рабочие районы начинали пользоваться дурной славой. Казалось, плановое общество само по себе было ошибкой.

Идея прогресса, конечно же, стала мишенью постмодернизма. Утверждалось, что она является мифом – смешением (реального) материального, технологического и научного прогресса с (воображаемым) моральным и культурным прогрессом. Уже Теодор Адорно скептически отмечал, что «нет никакой универсальной истории, ведущей от дикости к гуманности, и уж тем более – от каменного топора к мегатонной бомбе» (цит. по: Bernstein 2001: 4), сомневаясь не только в соотношении различных форм предполагаемого прогресса, но и в самой конечной цели технологического и материального прогресса. Крах современных возникших в то время утопий как желанных целей и прогресса как средства их достижения – крах, ассоциирующийся с постмодернизмом, – нашел выражение в нашем сегодняшнем особом внимании к настоящему.

В конце 1960-х гг. в среде архитекторов и архитектурных критиков широко обсуждалась книга Карла Поппера «Открытое общество и его враги». Критика утопии Поппера рассматривалась как критика планирования. Архитектурные критики Фред Кеттер и Колин Роу эффективно использовали аргументы Поппера в своем «Городе-коллаже» (Rowe, Koetter 1978),

обосновывали тщетность «Плана» и предполагали, что необходимость со временем приспособлять планирование к меняющимся обстоятельствам означала также и постоянную трансформацию самого маршрута к пункту назначения. Рейнер Бэнем, Пол Баркер, Питер Холл и Седрик Прайс в 1969 г. пошли дальше, предложив провокативную идею о полном отказе от пространственного планирования – «не-план», названный ими манифестом свободы (см.: Vanham et al. 1969). Подобные нарративы о провале и бесполезности планирования подготовили почву для политического вмешательства.

В последующие десятилетия правительства западных стран корректировали и перерабатывали законодательство в области планирования, постепенно сокращая полномочия местных и центральных государственных плановых отделов, занимавшихся контролем за развитием и перепланировкой городов. Аналогичные процессы, но в ускоренном варианте и более крайних формах происходили в постсоциалистических странах бывшего Восточного блока в 1990-е гг. По существу, это были процессы дерегулирования и либерализации, в результате которых власть получал рынок в лице частных застройщиков. Планирование все больше превращалось в рядовой административный процесс. Департаменты городского планирования больше не разрабатывали обязательные генеральные планы – планирование, по сути, перестало существовать. Например, типичные генеральные планы, которые создаются сегодня в Великобритании, – это планы масштаба городского планирования, подготовленные для застройщиков. Контроль за застройкой в настоящее время ограничивается правилами, выступая «негативным» средством по сравнению с «позитивным» планом: в то время как правила определяют, что не следует реализовывать, план определяет, что должно быть осуществлено.

### Сейчас-время

Отступление от планирования стало отказом от попытки контролировать и определять будущее. Возросшая свобода, которой пользуются застройщики, привела к созданию фрагментированных городов, состоящих из анклавов – новых и старых, богатых и бедных, эффективных и неэффективных. Защита прав собственности снизилась, и, как следствие, возросла незащищенность жилья. При отсутствии контроля цены на недвижимость в глобальных городах резко выросли в результате спекулятивных инвестиций в жилье. Все это отражает процесс утверждения «сейчас-времени», которое идет на смену устремленному в будущее времени зрелой модерности. Такой фокус на настоящем заметен во всех современных практиках и культуре, начиная от постструктуралистского увлечения непредвиденностью до валоризации горациевского *carpe diem* в популярной культуре. Фокус корпораций на стоимости акций, а не на собственной прибыльности и долгосрочной устойчивости; рост культуры рисков в финансовой сфере и за ее пределами; ослабление безопасности пенсионных схем; рост долгосрочных долгов (отдельных лиц, правительств) как средства приукрашива-

ния настоящего; культура «быстрого успеха» знаменитостей, сжавшаяся до мгновенной звездности в социальных сетях с вирусными твитами, постами и загрузками – все это грани одного и того же «сейчас-времени», постмодернистского настоящего. Социальный философ Зигмунт Бауман усмотрел в изменениях, начавшихся в 1960-е гг., обмен, в результате которого мы получили больше свободы, но ценой безопасности (рабочих мест, жилья, пенсий), – процесс, в котором свобода для настоящего максимизируется за счет будущей свободы (см.: Bauman 2000).

Наиболее заметные формы архитектурного постмодернизма отвергали прогресс и *zeitgeist* и использовали историцистский подход, полагая, что палитра архитектора состоит из всех предыдущих исторических стилей. В некотором смысле это было освобождением от ограничений времени и места, а также отказом от веры в связь между конкретной эпохой и ее архитектурой: концентрацией всех эпох на одном плато – плато «сейчас-времени».

«Сейчас-время» – это пережиток недолговечной «утопии настоящего» 1990-х гг., времени, когда тезис Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» казался более убедительным, – времени воображаемого конца противостояний, победы либерализма свободного рынка, а также эпохи доминирования постмодернистской мысли. Доверие к этой утопии рассеялось к началу 2000-х гг. под воздействием экономических кризисов, нестабильности и конфликтов, и одновременно сократилось применение термина «постмодернизм». Тем не менее темпоральное сознание по-прежнему сфокусировано на настоящем. По сути, мы оказались в ловушке настоящего. Социолог Жан Бодрийяр уловил наступление этой эпохи еще в 1968 г., в модной машине общества потребления: «Ибо движение, которым, казалось бы, охвачена вся система, развивающаяся по кривой технического прогресса, не мешает ей оставаться фиксированной и внутренне устойчивой. Все течет, все меняется у нас на глазах, все обретает новый облик, и однако перемен ни в чем нет» (Baudrillard 2005: 167; Бодрийяр 2001: 170).

Три рассмотренных здесь понимания темпоральности – с фокусировкой на прошлом в раннем модерне, с ориентацией на будущее в зрелом модерне и на настоящее в период постмодерна – являются гранями темпорального сознания современного общества и противостоят циклическому или телеологическому времени традиционного общества. В той или иной степени все эти три формы становятся актуальными с момента утверждения идеи линейного времени как доминирующего понимания времени в современности, однако каждый из трех упомянутых здесь периодов модерна характеризуется лишь одной из этих трех форм.

Существуют и другие способы постижения времени. Главный герой научно-фантастического романа Брайана Олдисса «Сад времени» обнаруживает, что время, по существу, течет вспять: человеческое сознание не может охватить время как оно есть и вместо этого стирает память о будущем и позволяет предвидеть прошлое – процесс деэволюции, в ходе которого люди поднимаются из-под земли и заканчивают свою жизнь в утробе матери (см.: Aldiss 1969; Олдисс 2003: 157-344). Главный герой попадает

в психиатрическую лечебницу, оставляя читателей в неведении относительно того, были ли они свидетелями бреда сумасшедшего или прозрений бунтаря. Более подходящим для описания нашего сегодняшнего состояния является популярный фильм 1993 г. «День сурка», в котором главный герой Фил, сыгранный Биллом Мюрреем, застрял во временной петле, где каждый день в точности повторяет предыдущий. Наш недавний опыт локдауна в связи с эпидемией коронавируса сделал фокус сегодняшней эпохи на настоящем только более заметным. Возможно, как термин «постмодернизм» и исчерпал себя, но мы все еще находимся в ловушке постмодернистской темпоральности.

Перевод и примечания М.С. Ильченко

Научная редакция перевода М.С. Ильченко, В.С. Мартынова

Translated from English by M.S. Ilchenko

Academic editing by M.S. Ilchenko, V.S. Martianov

### References

- Aldiss B. 1969. *An Age*, London, Sphere Books, 187 p.
- Banham R., Barker P., Hall P., Price C. 1969. Non-Plan: An Experiment in Freedom, *New Society*, vol. 13, no. 338, 20 March, pp. 435-443.
- Baudrillard J. *The System of Objects*, New York, Verso, 2005, 240 p.
- Bauman Z. 2000. *Liquid modernity*, Cambridge, UK, Polity Press, Malden, MA, Blackwell, 240 p.
- Bernstein J.M. 2001. Introduction, *Adorno T.W. The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture*, New York, London, Routledge, 224 p.
- Calinescu M. 2003. *The Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism*, Durham, Duke Univ. Press, 422 p.
- Crook J.M. 1987. *The Dilemma of Style: Architectural Ideas from the Picturesque to the Post-Modern*, London, John Murray, 348 p.
- Habermas J. 1987. *The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve lectures*, Cambridge, Polity and Basil Blackwell, 450 p.
- Harvey D. 1990. *The Condition of Postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change*, Oxford, Basil Blackwell, 392 p.
- Jacobs J. 2011. *The Death and Life of Great American Cities*, New York, Modern Library, 640 p.
- Jameson F. 2005. *Postmodernism, or, the Cultural Logic of late Capitalism*, Durham, NC, Duke Univ. Press, 460 p.
- Jencks C. 1977. *The Language of Post-Modern Architecture*, London, Academy Editions, 104 p.
- Rowe C., Koetter F. 1978. *Collage City*, Cambridge, Mass., MIT Press, 185 p.
- Rykwert J. 1980. *The First Moderns: The Architects of the Eighteenth Century*, Cambridge, Mass., London, MIT Press, 585 p.
- Smith C. 1992. *Architecture in the Culture of Early Humanism: Ethics, aesthetics, and eloquence 1400–1470*, New York, Oxford, Oxford Univ. Press, 317 p.
- Tafuri M. 1976. *Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development [1973]*, Cambridge, Mass., London, MIT Press, 196 p.
- Turgot A.-R.-G. 1773. *A Philosophical Review of the Successive Advances of the Human Mind, Turgot on Progress, Sociology and Economics*, London, Cambridge Univ. Press, pp. 41-60.

Winckelmann J. 2006. *History of the Art of Antiquity*, Los Angeles, Getty, 446 p.

*Издания (переводы) на русском языке*

Бодрийяр Ж. 2001. Система вещей. Москва : Рудомино. 224 с.

Джекобс Д. 2011. Смерть и жизнь больших американских городов. Москва : Новое издательство. 460 с.

Дженкс Ч. 1985. Язык архитектуры постмодернизма. Москва : Стройиздат. 136 с.

Кеттер Ф., Роу К. 2018. Город-коллаж. Москва : Strelka Press. 208 с.

Олдисс Б. 2003. Сад времени. Москва : АСТ. 592 с.

Хабермас Ю. 2003. Философский дискурс о модерне. Москва : Весь Мир. 416 с.

*ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ*

**Тал Каминер**

Доктор философских наук, преподаватель истории и теории архитектуры в Кардиффском университете, Уэльская школа архитектуры,  
г. Кардифф, Уэльс, Великобритания  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0331-7869>  
E-mail: [kaminert@cardiff.ac.uk](mailto:kaminert@cardiff.ac.uk)

*INFORMATION ABOUT THE AUTHOR*

**Tahl Kaminer**

PhD, Professor of Architectural History and Theory at Cardiff University, Welsh School of Architecture, Cardiff, Wales, U.K.  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0331-7869>  
E-mail: [kaminert@cardiff.ac.uk](mailto:kaminert@cardiff.ac.uk)



## Требования к авторам

1. Автор отправляет на редакционную почту [admin@instlaw.uran.ru](mailto:admin@instlaw.uran.ru) рукопись статьи в электронном варианте в формате .doc.

2. Статьи должны соответствовать тематике журнала: философия, политическая наука, право. Принимаются рукописи только ранее не опубликованных, оригинальных статей. Статьи представляются на русском или английском языках.

3. В случае несоответствия тематике и требованиям к оформлению материалы не принимаются к рассмотрению, автору направляется соответствующее уведомление.

4. Принятые к рассмотрению материалы проходят двойное слепое рецензирование: имена автора и рецензентов не раскрываются друг другу. К рецензированию привлекаются как члены редакционной коллегии и международного редакционного совета, так и внешние эксперты – специалисты по проблематике представленной статьи. Если мнения двух рецензентов принципиально расходятся, редакция привлекает третьего рецензента или принимает решение самостоятельно. Срок рассмотрения статей – не более 2-х месяцев с момента поступления рукописи в редакцию.

5. По результатам рецензирования статья может быть принята к печати, направлена автору на доработку или отклонена. В случае принятия к печати статья пополняет редакционный портфель, из материалов которого редколлегия комплекзует ближайшие номера журнала.

6. Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет. Редакция направляет авторам рукописей отзывы рецензентов или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство науки и образования Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

7. Рекомендуемый объем статьи – 40–60 тысяч знаков (с пробелами). Шрифт (гарнитура) Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервала, текст должен быть отформатирован по ширине без переносов, абзацный отступ – 1 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поля – 2 см. При использовании в тексте кавычек применяют типографский вариант («»). Тире обозначается символом «–» (среднее тире); дефис «-».

8. Все иллюстрации, графики, таблицы и рисунки должны иметь последовательную нумерацию, название; быть включены как в основной файл статьи, так и представлены отдельными файлами.

9. Название статьи форматируется по центру, выделяется полужирным шрифтом, 14 кеглем, все буквы прописные. В правом верхнем углу над названием статьи указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, занимаемая

должность, место работы, электронная почта. В левом верхнем углу указывается код УДК.

После названия приводится аннотация статьи, раскрывающая ее гипотезу, основные положения и выводы. Объем аннотации не менее 2000 знаков с пробелами. После аннотации статьи приводится список ключевых слов (5–10).

10. Внутритекстовые ссылки оформляются в круглых скобках, в которых указываются фамилия (фамилии) автора или составителя (главного или ответственного редактора), или основное заглавие (если авторство нельзя установить), далее через пробел указывается год издания, затем через двоеточие – страницы цитаты, либо статьи правового акта, на который ссылается автор. Например: (Булгаков 1994: 203-204).

11. Библиографический список представлен двумя блоками – Списком литературы и References.

В Списке литературы указываются научные источники, первоначально авторские работы на русском языке в алфавитном порядке, затем источники на иностранных языках. При наличии нескольких источников одного автора, вышедших в одном календарном году, данная группа записей располагается по алфавиту заглавий, а к цифровому обозначению года добавляются строчные буквы латинского алфавита – a, b, c, d, что отражается и во внутритекстовых ссылках.

References – список литературы, где источники на кириллице даны в транслитерации и в переводе на английский язык (фамилия автора, название журнала, сборника – в транслитерации; заглавие монографии или статьи, место издания – в переводе), английские источники приводятся без изменений. Источники на иных языках также даются в переводе на английский язык. Весь массив записей располагается в алфавитном порядке.

При ссылке на книги указывается количество страниц в книге. При ссылке на статью указывается диапазон страниц (например: С. 13-29).

12. К статье должны быть приложены переводы на английский язык: имени и фамилии автора; должности и места работы; контактной информации; названия статьи; аннотации и ключевых слов.

13. Одобренные редакционной коллегией материалы публикуются бесплатно, гонорары авторам не выплачиваются.

14. К представленной в редакцию рукописи автор прилагает письменное согласие на размещение опубликованной в журнале статьи в электронных базах данных; письменное согласие на опубликование персональных данных.

Более подробно с требованиями к авторам и примерами оформления рукописей можно ознакомиться на сайте журнала по адресу: <http://yearbook.uran.ru/avtoram/trebovaniya-k-statiam>

## Manuscript conditions

1. Manuscript in doc. format should be sent to the editorial board's email [admin@instlaw.uran.ru](mailto:admin@instlaw.uran.ru).

2. Manuscript submitted to the Journal should relate to Journal's subject areas, which include philosophy, political science and law.

3. Previously published papers are unacceptable.

Manuscripts should be submitted in Russian or English.

4. If the paper doesn't comply with the subject-matter of the Journal or formal requirements it excludes from further consideration, the author is notified about it.

5. Every manuscript submitted to the Journal is a subject for double-blind review, which means that the identities of reviewers are concealed from the author, and vice versa. Reviewers are experts in the same subject area as the paper submitted. The paper is assigned for reviewing to experts, who are members of the editorial board or the international editorial council, as well as to independent experts. If the first reviewer accepts the paper, while the second reviewer rejects it, the paper will be passed for evaluation to the third reviewer or the decision on acceptance or rejection will be made by the editorial board itself. The procedure for review and approval of papers takes no more than two months.

After reviewing the article may be accepted for publication, sent to the author for revision or rejected. If accepted for publication the paper is placed in the portfolio of editorial board for further publication.

6. The editorial board retains reviews during 5 years. If needed, the editorial board sends reviews or notes of reasoned refusal to the authors. If requested, the editorial board sends copies of reviews to the Ministry of science and education of the Russian Federation.

7. The Journal normally publishes papers between 40000 and 60000 characters in length (with spaces). The texts should be typed using Times New Roman, font size 14, 1.5 spaced, justified alignment, 1 cm. paragraph indentation, 3 cm. left margin, 1,5 cm. right margin, 2 cm. top and foot margins. French quotation marks «», dash «-», hyphen « - » should be used in the text.

8. Illustrations, diagrams and tables should be numbered and named. Illustrations, diagrams and tables should be both placed within the text of the manuscript and provided in a separate file.

9. Titles of papers should be centered, capitalized, semi-bold and typed using Times New Roman, font size 14. The author's personal data (full name, scientific degree, academic title, current institutional affiliation, position, e-mail) should be placed in the top-right corner above the title of the manuscript. UDC, if possible, should be placed in the top-left corner of the manuscript.

The abstract should be placed below the paper's title and be no less than 2 000 characters (with spaces). It should summarize the hypothesis and key results presented in the paper. From 5 to 10 keywords are also required.

10. References should be placed within the text in round brackets ( ). In-text references should include the author's last name or the editor's last name, or the title of the source (for sources with no author named), as well as the year of publication and page reference (or article of the normative legal act). Example: (Jameson 2009: 167).

11. After-text bibliography includes the List of sources and References.

The List of sources should be composed alphabetically. It should be organized in the following order: sources in Russian (books and articles); sources in foreign languages (books and articles). If there are two or more sources by the same author in the same year, lower-case letters (a, b, c, d) with the year should be used. The lower-case letters with the year should be added to the in-text references as well.

References is the List of sources which should be transliterated and translated into English (author's last name, title of the journal or collection should be transliterated; title of the monograph or article, and the place of publication should be translated into English). Titles in other languages should be translated into English as well. List of References should be alphabetized.

Description of books and articles listed in after-text bibliography should contain number of pages, while description of articles should contain page ranges. Example: P. 13-29.

12. The author should also submit a separate file containing the following information in English: full name, scientific degree, academic title, current institutional affiliation, position, e-mail, as well as title of the paper, abstract and keywords.

13. Publication of accepted papers is free of charge. Honorarium is not paid to the author.

14. In addition to the manuscript, the author provides written consent to display published paper in the electronic databases, as well as written consent to make public his/her personal data.

More detailed information for authors as well as samples of papers, abstracts et al. are provided at the Journal's website: <http://yearbook.uran.ru/en/for-authors/accepted-papers>

Научное издание

## АНТИНОМИИ

Том 22

Выпуск 3

### **Воображая модернность: новые концепции в сравнительной перспективе**

*Рекомендовано к изданию  
Ученым советом Института философии и права  
Уральского отделения РАН*

Ответственные за выпуск  
В.С. Мартьянов, В.В. Руденко

Редактор *М.И. Лаевская*  
Корректор *Е.М. Олову*  
Компьютерная верстка *А.Э. Якубовского*  
Дизайн обложки *Е. Ширяевой, «РА4»*

Подписано в печать 10.10.2022. Формат 70x100/16.  
Бумага типографская.  
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 11,0. Уч.-изд. л. 9,6.  
Тираж 500 экз. Заказ №

Институт философии и права УрО РАН  
620108, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 16.

---

Изготовлено ООО «Издательство УМЦ УПИ»  
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 17, офис 134.